



В номере:

Юбилей

Александр Милях. К 70-летию поэта 3

Проза

Георгий Каюров. Доска 6

Николай Толстиков. Лазарева суббота 13

Владимир Шатров. Личное дело сержанта Бессарабова 45

Александр Петруша. Меткие стрелки 57

Сергей Криворотов. Душа ёлки 64

Поэзия

Светлана Новгородцева 71

Павел Гулаков 73

Тамара Марин-Король 75

Наталья Сава 76

Илья Боровский 77

Лирика Болгарии

Цонка Христова 79

Дебют

Мария Симонова 82

Лаб-рия сатиры

Светлана Супрунова 84

Литература для детей

Светлана Бурка 87

Галина Зеленкина. Янек и Бася 89

Дневник путешественника

Борис Куделин. В поисках попутного ветра 92

Памяти поэта

Евгений Евтушенко. Веничка Ерофеев из Самары 101

Журнал «Наше поколение» основан в 1912 году.
Выпущено было 10 номеров. Выпуск возобновлен в 2009 году.

**Журнал «Наше поколение» готовится при творческом участии:
Международного сообщества писательских союзов
Союза писателей России
Московской городской организации Союза писателей России**

Учредитель

Козий Александра Петровна

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Министерством юстиции Республики Молдова №229 от 18 февраля 2009 г.

Редколлегия:

Главный редактор

Георгий КАЮРОВ

Редактор интернет-журнала

Виктор ХАНТЯ

Главный бухгалтер

Ольга ДОДУЛ

Редакционный совет номера

**Николай Переяслов, Михаил Попов, Владимир Силкин, Дмитрий Нечаенко,
Ольга Бедная, Анна Кашина, Юрий Харламов, Александр Милях, Алексей Дука,
Виктор Хантя, Матвей Левензон, Максим Замшев, Иван Дуб,
Анна Малдофа, Маргарита Сосницкая, Виталий Ткачев, Сергей Маслоброд.**

Литературный редактор

Вера ДИМИТРОВА

Корректор

Светлана БРОНСКИХ

Художник-иллюстратор

Эдуард МАЙДЕНБЕРГ

Фотограф

Валерий КОРЧМАРЬ, Юрий ГЕРАЩЕНКО

Дизайн

Издательский Центр «Наследие»

Вёрстка

Дмитрий МАЗЕПА

Адрес редакции: Кишинев, ул. Пушкина, 22, оф. 317

E-mail: nashepokolenie@pisem.net

www.nashepokolenie.com

Перепечатка материалов без разрешения редакции «Нашего поколения» запрещена.
Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не имеет возможности вступать
в переговоры и переписку по их поводу, а только извещает авторов о своём решении.

Александр МИЛЯХ

Поздравляем!



Мастер литературы Республики Молдова.

Лауреат Юбилейной Есенинской литературной премии в Молдове (1995 год),

Лауреат Пушкинской литературной премии в 1999 году (к юбилею Поэта).

Лауреат Всероссийской литературной премии «Традиция» за 2002 год (г. Москва).

Член-корреспондент Международной Академии Поэзии (г. Москва).

Член Союза писателей России, Московская городская организация.

Мигранты

Не ропщут матери погибших
 В краю голодном. Испокон
 Им – оскорбленным – голос свыше
 Под светом праведных икон.
 Униженным, но вознесенным
 Судьбою тихой русских вдов,
 Им в небесах, им – поименно
 Благодаренье скорбных слов.
 Поплачьте, матери и вдовы,
 О разрушение бытия –
 Отцы желали жизни новой?
 И снова жаждут сыновья!
 Пропиты лозунги. Забыты
 Заветы – Слов и Дел – святых,
 Поплачьте, матери убитых,
 Рыдайте, матери живых!
 Вас укрепляла святость хлеба,
 За доброту – вам – Бог воздаст.
 А нам теперь в добычу – небо,
 Коль нет земли родной для нас.
 Молитесь, матери. Молитесь,
 За нас, живых, уже чужих,
 Летит по небу алый витязь,
 И ястреб ярости кружит...

Август

Молюсь, не веруя.

Не на коленях –

Стоя.

Не к небу руки – в кулаки...
 В тени причального покоя
 Буксиры. Спят, как бурлаки.
 Тащили баржи на плечах
 Весь день туманный и дождливый.
 В порту сирены не кричат,
 Маяк – луч бросил. Бережливо.
 Еще один. Еще другой...
 В пунктирном свете чайка стонет,
 И тонет в полумраке зной.
 И море – в темном небе
 Тонет.
 В погоне за людской судьбой
 Звезда звезду перечеркнула,
 А небо близкое уснуло
 И надо мной и подо мной.
 Молюсь.

Молюсь. Ищу в просторе
 Зрачки святые звездных глаз,
 Устало лижет берег море, печали...
 Утешая час.
 К любви – без библии моля,
 Иду! Касаюсь суши кромки...
 Ваше сиятельство,
 Луна!
 Веди к Любви – меня!
 В потемках...

1991 г.

1969 г.

Тяжесть

Как тяжело,
Свой –
 одобряя возраст,
Не признавать кончину многих лет,
Но чувства –
Сердца прошлые занозы,
Не вырвет врач, тем более
Поэт.
Я помню всех. От бога и вне бога
Горят в былых годах, но не веках –
Нас развела по судьбам та
Дорога,
Что говорит на разных языках.
Где критики, редакторы –
Поэты!
Чей говор строк
 был нарочито строг,
Их не облагородят –
 «интернету»,
Родной порог и
Даль чужих дорог...
Я сам прошёл и города, и веси,
Меня ломали Питер и Москва,
Не торги строк, а вознесённым в песнях –
Тебе, Тольятти,
Сердце сквозь слова –
Дарил

 Певец не комсомола ВАЗа,
Но летописец чувств и дневника –
Был регистратором и голоса, и глаза
Небесного,
 потом –
Моя рука!
Одесса, милая, твои проверил спуски
В стихию,
Где поёт вода:
Ведь это море называлось –
Русским!
Российским –
Чёрным –
Стало навсегда!
Что вспоминать?

 Как солнцем кишинёвским
Пылает день? И манит погреб дном?
Где Константин

 Сергеевич
Семеновский
Звенел пенсне, стихами и вином!
Дорога к людям – к совести дорожки,
Одна от бога

 к сердцу так
 близка,
Как та – от дома Валентина
Рошки
До дома – Аурела
Бусуйка!

Поэт во всём – и в доброте, и в злости,
Лишь знает меру – мерой через край,
В стихах о ней

 пел Николай Савостин,
В статьях звенел
 Савостин Николай!

А. Малашенко?
 Ян Вассерман.
Ицкович

Саул. Они тогда ушли,
Когда ломала мелочность
Земного –
На части –
 часть одной шестой
Земли!
И нет поэтов,
Родственных по духу?
Ты посмотри, ловка
Как молодёжь!
А как? Примолкших душ разруху
Не воспевай.
Свою не уничтожь...

Спасаясь от возвышенных ничтожеств

Рука опять задела облака –
Моих художеств. Назначенье божье:
В заветной роли Вани-дурака
Спасаться от возвышенных ничтожеств.
Рисую то, чего в помине нет.
Ведь то, что есть –
Не терпит рисованья!
Чистописанье – главный госпредмет,
Я с детства доверяю отрицанью.
Но в чем винить заявленных господ,
Коль сам их выбрал, став единоверцем?
Теперь все знают: был всегда господь!
Но страх спасал неверящее сердце.

Над Русью – призрак копий и дубья,
Земля и небо – в очернение стаи...
Опять чужую Книгу Бытия
Листают вспять лгуны и негодяи.

«...А кто ты сам? –
Я слышу в небесах, –
Чем заслужил пророческие муки?
Коль проверяешь на одних весах
С безмерным горем – горестные слухи?!
Не отличишь ты друга от врага,
Любому ветру подставляя щеки...»
Рука опять задела облака,
На них ищу ответы за уроки.
«...А кто учитель?» Вновь ответов нет.
Вопросы – их давно перебороли.
Рукой от мрака отрываю свет,
И в этом смысл моей дурацкой роли...

Ясная поляна

Спасибо, Ясная Поляна,
Ты прояснила душу мне,
В любой дорожной стороне
Твой слышу голос постоянный.
Меня влечет исконной силой,
Зовет молчания гранит,
Где сокровенную могилу
Русь заповедная хранит.
Ко мне приходит осторожно,
Но с каждым годом всё больней,
О, как он бережно тревожен,
Твой голос – нивы и полей.
Чем от природы современной
Чувств обездоленных мотив,
Тем все ясней огни селений
Бессмертных прадедов моих...

1973 г.

Читая Ф.Тютчева

Мы в оправданье перед богом,
 Мы будем снова,
 Не они!
 Себя в том испытанье строгом
 И нас, Россия, не вини,
 Верни святому Слову
 Дело
 Ни господина, ни раба,
 Коль долю русскую задела,
 Прервав границами
 Судьба
 И человечества, и мира,
 Что всё от бога и в тебе...
 Не сотвори опять кумира
 В последней роковой борьбе.

Они ещё не наступили –
 Не слов, а Слова – времена,
 Пока лишь торжество растленья
 Исконных душ, родных умов.
 Молчат глаголы просвещенья
 Твоих покинутых сынов.
 Но в этом испытанье
 Строгом
 Ты нас, Россия, не вини,
 Мы в оправданье перед богом,
 Мы будем снова...
 В наши дни.

И мы, сыны твои родные,
 Свет не забыв домов
 Родных,
 Вдруг познаём, что мы –
 Иные!
 Но для властителей
 Твоих...

Сердце сжалось...

Сердце сжалось!

Будет жалость.

Сердце, я тебя боюсь:
 Много, много потеряла
 За большое сердце – Русь!
 Где-то худенькие речки
 Скалы режут. Горы рвут!
 Горы, ледяною речью,
 Рекам – силы придадут.
 Понимаю.

Понимаю,
 Жизнью жертвовать веля,
 Белый цвет, в том, в красном мае –
 Любит черная земля!
 Сердце сжалось.

Сердце, где же?

Рассудительно, легко.
 Человек тебя зарежет,
 Лишь за то, что – не его!
 Не его, ты... Жив я мыслю,
 Что грядет урочный час:
 Утвердит. Спасет! Возвысит?
 Он погубит, сердце, нас!
 Ты прости меня.
 Я знаю:
 Добротою вечной зля,
 Белый цвет –
 Во красном мае
 Любит –
 Черная земля...

Художник

Мечту художник рисовал:
 Весенним морем, льном, рекою –
 Прозрачной краской – голубою.
 А краску, как у батареи,
 Его большие руки грели.

Художник
 Память рисовал:
 Поля пшеничные горели,
 Глаза блокадные смотрели.
 На села и на города
 Бросали тени поезда.

Художник совесть – рисовал:
 Засеребрились вдруг виски,
 Метались яркие мазки,
 На два изломанных крыла
 Дорога горизонт... –
 Рвала.

Художник славу рисовал,
 И были полные отваги
 Эскизы на простой бумаге,
 Но утром луч по стенам полз –
 Нетронутым остался холст.

...А на холсте опять

Река,
 И вдаль глядящее оконце,
 И сердце девичье в руках
 Озябшей осени...
 Нет! Солнце.

Памяти поэта

К.С.Семеновскому

Звонок молчал.

Ветра стучались
 В окошко заревой крови,
 Хозяин дома был печален,
 Суров и трезво деловит:
 «Кто утром жив, тот сутки вечен,
 Найдя любовь и верный кров,
 Входи. Зажжем хмельные свечи
 За добрый город Кишинев.
 В людском размеренном устое
 Заложен грустный не покой...» –
 Он разговаривал со мною,
 Но больше с небом и с собой:
 «Бутылки вдохновенных
 „Лидий“
 Ждут на скамейке у ворот,
 Я верю, что с тобой Овидий,
 Став не изгнанником, зайдёт...»
 Теряло медленное лето
 Разгоряченную листву,
 Смягчает время боль поэта
 И беспощадную молву –
 «...Коль в откровении стихает
 Порыв души неповторим,
 Поговорим с тобой стихами
 И о стихах поговорим.
 Идя по роковому следу,
 Лишен ты праведных утех,
 Но есть надежда на
 Победу,
 Коль нет надежды на успех...»

Георгий КАЮРОВ



Доска

Рассказ

Более месяца назад мне позвонил из Софии Никола и сообщил, что собирается приехать в Кишинёв, но поездка необычная, – везёт бабушку.

– Через пару годков ей будет сто лет, – немного заикаясь, объяснял Никола.

– Долгие лета, – удивляюсь я. – И крепкого здоровья.

– Долгие лета, – соглашается Никола. – Мы её отговорили от этой поездки. Сам понимаешь, возраст, а путь не близкий. На днях я сделал большую глупость – рассказал о том, что в Бессарабии живёт русский писатель, потомок бессарабских болгар, тех – первых колонистов. Она засобиралась не на шутку. Мы не можем её отговорить. Какой день твердит, что ей надо с

тобой встретиться, есть, что рассказать. Вчера разыгралась настоящая трагедия. Мы выслушали целую исповедь – оказывается, она думала, унесёт с собой в могилу эту историю – слёзы, сердечные капли, снотворное, чтобы хоть как-то урезонить. Готова была ещё с вечера отправиться в дорогу на Кишинёв. У неё появилась возможность рассказать, и нельзя терять ни дня. В общем, встречай.

– Рад буду вас видеть, Никола, и тебя и твою бабушку, – успокаиваю его.

На этом и попрощались. Я был тронут доверием его бабушки, но и делал скидку на эмоциональность товарища. В короткие встречи мне приходилось часами слушать длинные вступления Николовых историй, пока он наконец подходил к сути того, о чём собирался рассказать. Не слушать было невозможно, потому что Никола всегда говорил горячо, эмоционально, и я ловил себя на мысли, что все детали, на которых подробно останавливался Никола и стороннему слушателю казавшиеся ничемными, тоже важны. Как бы неумолимыми были рассказы Николы, которые мне предстояло выслушать, а теперь ещё и его бабушки, я рад был предстоящей встрече с могучим сыном болгарского народа, большим знатоком истории своей страны и искреннего почитателя бессарабских болгар, знающего нашу историю лучше, чем мы сами.

Рассматриваю карту Болгарии в Интернете – виды из Космоса – отыскиваю Златоград среди горных перекатов Родопи. В большом разрешении «брожу» по улицам этого тихого уголка, чтобы прочувствовать события, о которых поведала мне девяностовосьмилетняя болгарка. Она прибыла в Республику Молдова вместе со своим пятидесятилетним внуком Николой, чтобы побывать на местах легендарных предков – национальных героев Болгарии – вынужденных два века назад спасать свои жизни и жизни своих семей на пересечённых ландшафтах Бессарабии, ища защиты у Российского императора.

Златоград, небольшое местечко рудокопов, раскинулся на распутье трёх автомагистралей, затерявшись в гористой местности, покрытой сплошь лесами. Заезжая с востока, уже в самом центре городка путник окажется перед выбором – дорога вправо уведёт путешественника в глубь Болгарии, а дорога влево, через несколько десятков километров, откроет прекрасные курорты побережья Белого моря, так болгары называют Эгейское, но надо пересечь болгарско-греческую границу.

Образ старой болгарки не покидает меня уже месяц. Вот и сейчас, изучая окрестности Златограда, у меня ощущение, будто она сидит передо мной и повествует своим монотонным, тягучим голосом. Её прохладные, иссушенные жизнью руки сжимают бостон, а рот шамкает, всё время что-то поправляя языком. Говорит внятно, и слух у неё чуткий. Стоит мне исковеркать болгарское слово, она тут же поправляет. Поправляет неумолимо и настойчиво:

– Не-ея, сорук – чтресет! Чтресет! Запомни! – и стукнет для убедительности бостоном по полу.

Я исправляюсь, чтобы попасться на другом слове, и снова неумолимая блюстительница чистой речи указывает на ошибку.

– Ты не сердись на бабушку, – поддерживает меня Никола, пока та переводит дыхание и собирается мыслями. – Она проработала многие годы учительницей. Меня замучила муштровать языку. Но она по добром к тебе относится. Поверь мне.

– Я вижу. Всё в порядке, – соглашаюсь с товарищем. – Наоборот, хорошо, выучу язык.

Меня больше расстраивает то, что повествование прерывается из-за моего неправильного произношения. От досады корю себя за несдержанность и стараюсь больше слушать не перебивая. Речь старухи не скорая, вязкая. Она старается проговаривать каждое слово, желая донести его до сердца слушателя. Внимаю любым звуку и жесту рассказчицы, и ей это нравится. Чувствую – нравится, но виду не подаёт, а нарочито грубо исправляет мой плохой болгарский.

– Это произошло давно, и семья Везириных хранит всё в тайне, как хранит ещё две священные тайны, завещанные предками. О них я расскажу, потому что надо было унаследовать эти тайны, чтобы в каждой семье Родопи появилась третья, своя тайна – старуха протёрла губы платком и продолжила: – Троица нас хранит, – неожиданно она умолкает. Мне показалось, что на этом и закончит свой рассказ, передумав приоткрыть занавес секретов целого народа. Решимость старухи опровергла мои опасения: – Бахтияр Везиринов выдавал свою дочь Гюлтерие замуж. Я тогда тоже в девках бегала. Меня отец выдавал... – старуха тяжело вздохнула, покачав головой: – Нашёл мужа, посидели за скромным столом со сватами, и пошла я из родительского дома. Мама в свой платок сложила мои вещи, пару кофточек своих приложила, с тем и начала жизнь. Моя семья бедствовала. Какие доходы у местечкового учителя?! – болгарка снова сделала передышку. – Венчальные свечи сунула в узел и шепчет мне, поведёт венчаться, свои свечи будут. С этими свечами сама венчалась, и всех дочерей венчали, – старуха призадумалась и, усмехнувшись, продолжила: – Дочка у него красивая! Думаю, большой калым получил Везиринов, – старуха пошамкала губами от удовольствия: – Жених прибыл в окружении большой свиты. Кони сытые – все белые. Жил он где-то в ближайшем к Златограду горном селе. Нам говорят – сегодня болгары стали жить лучше. Как же лучше, я тебя спрашиваю, – старуха пристально уставилась невидящим взглядом в мою сторону, грозно сведя брови.

Мне нечего было ответить, и я опустил голову, чувствуя её колючий взгляд и ощущая, как боль за свою родину и гнев разрывали ей душу.

– Разве из-за хорошей жизни болгарин бросит свой дом? Сегодня тысячи сёл брошены. Раньше были турки, а в каждом селе жили люди, было много детей, – старуха гневно покачала головой, грозя кулаком, и уже через мгновение голос её выровнялся: – Освободили Родопи от турков в одна тысяча девятьсот двенадцатом, но наш городок долго ещё продолжали называть – Дары-Дере. Только в тридцать четвёртом переименовали в Златоград. Тяжёлое время! Освободили братьев-болгар, они как мы, язык – болгарский, обычаи наши, а... – старуха снова сделала паузу, устремив тяжёлый взгляд в пол, и откуда-то из глубины у неё вырывалось: – Помаци!

Я увидел, как сжались кулаки от бушующего гнева в сердце старой болгарки.

– Кто это придумал? – крикнула она, низко наклоняясь в мою сторону.

От слова «помаци» какое-то отвратное ощущение, но не понимаю его значения и потому не знаю, что ответить на вспышку эмоций рассказчицы.

– Помаци, значит – сломленные, – поясняет мне Никола. – Понимаешь, – тронутый рассказом бабушки взрывается он эмоциями. – У нас есть праздник, большой православный праздник – день Святого Георгия. Весь город собирается на площади. Нет различия между жителями – православный ты или магометянин. Каждый садится в круг своей семьи, родственников, раскладывает угощения, подходит к любому и будешь сытно накормлен и встречен самым дружелюбным вниманием. Молятся, правда, каждый по-своему.

– Бог не наш – магометянский, – то ли с сожалением, то ли осуждая, дополняет внука болгарка. Она поднимает подслеповатые глаза на меня, понимаю ли я, о чём она говорит. Качаю головой, больше потому, что ещё нахожусь под впечатлением от значения слова «помаци».

– Не понимаешь, – разочарованно тянет старуха, брезгливо отворачиваясь.

Я теряюсь, не находя слов, но на помощь подоспел Никола.

– Понимает он, бабушка, понимает. Здесь головой кивают, говоря «да», так как у нас, когда хотят сказать «нет».

– Тьфу, – смачно сплёвывает старуха и громко смеётся. – Да так да, – принимает она моё «да» и продолжает: – Всё торжественно, все довольны. Мать плачет, но какая мать не плачет, выдавая дочь замуж?! – старуха замолкает, задерживая пристальный взгляд на мне. – На пороге дома, благословляя дочь, Бахтияр и Демирка, так звали мать Гюлтерие, – и снова пауза, чтобы старуха наконец прошептала: – Гуркия.

– Красивые имена, – соглашаюсь я, по ошибке отнеся и последнее слово к именам.

– Хгм! Красивые, – презрительно усмехается рассказчица: – Гюлтерие – куст розы, так переводится с турецкого её имя. Демирка – железо. Она и была железная, – старуха снова перевела дыхание, собирая силы, чтобы продолжить: – Родители молодым и говорят:

– Благословляем вас, но наше благословение такое – надо сходить к Хану.

– Хорошо, папочка, – звенит голос счастливой Гюлтерие. – Обязательно завтра пойдем.

– Нет, – взглянув на жену, строго отрезал Бахтияр. – Надо сходить сегодня. Сейчас. Иначе не быть тебе женой, – сомневаясь, к месту ли будет напомнить, тихо добавил: – Этого хотела твоя бабушка.

– Милая, давай сделаем, как просят родители, – поддержал тестя молодой супруг, не дав Гюлтерие возразить отцу. – Наши подождут, – и шепнул на ухо: – Очень хочется на настоящего Хана посмотреть.

Гости расположились под навесом двора Везириных, а молодые со своими родителями направились к Хану. Дорогу указывал Бахтияр, следом за ним шла Демирка с рушником в руках и свадебным калачом, какие подают почётным гостям и родителям. Я тоже была в той процессии. Меня Гюлтерие позвала как подругу. Я младше года на три. Любила её как сестру. Бывало по дому хожу и всё приговариваю: «Гюлтерие так сказала, Гюлтерие так сделала». Большой авторитет! – старуха важно покачала головой: – Отца моего, после освобождения Родопи, направили учительствовать в Дары-Дере. Там и я родилась. Мама боялась ехать к нехристям, – старуха умолкла, но ненадолго: – Жили мы с Везириными двор в двор, вот и перелазили через дувар, девчонками, друг к другу в гости бегали. Вместе проказничали, были хуже мальчишек. Позже гуляли девушками. Помню, за мной ухаживал красивый парень... Когда это было? – старуха махнула рукой и закрыла глаза. – И думать о нём боялась, он был магометянин. Мама узнала бы и умерла. Отец не дал бы согласия пожениться, – с закрытыми глазами старуха застыла, и только губы продолжали шептать: – Йордан сделал меня счастливой. Семьдесят один годочек прожили душа в душу. Семеро детей, внуки, правнуки...

Мне показалось, что старуха вот-вот заплачет, но слёзы не потекли. Она всё равно протёрла сухие глаза платком:

– Жених веселился, несмотря на то, что рядом идут его родители. Отец у него был строгий. Они с женой шли перед нами, и он оглядывался, чтобы одёрнуть сына. Лицо – жуть! Грозный, страшно! И у отца и у сына сходились густые чёрные брови, – старуха закачала головой и задумалась: – Он был неплохой парень. Как же имя? Никола, как его звали? Слышь, Никола! Как звали мужа бабы Гюлтерие?

– Не помню, – задумчиво проговорил Никола.

По его лицу было видно, – рассказ бабушки обернулся для него откровением. Новую страницу истории своего народа открывал для себя Никола, народа – потомком которого являлся, а открывал страницу, которую не найдёшь в умных исторических книгах учёных мужей. Ловил себя и я на вопросе: кто ты? Никогда не задумывался об этом ранее. Никола, внук вот этой старой исповедалицы, впервые повернул меня лицом к предкам. Теперь его бабушка выбрала меня, чтобы доверить то, с чем собиралась умереть. Я – потомок первых болгарских колонистов, основавших столицу бессарабских болгар город Болград. Мои предки построили Спасо-Преображенский Собор, присягнули России, ополченцами участвовали в освободительной русско-турецкой войне. Имена многих моих соплеменников вписаны золотыми буквами в историю России и Болгарии... Я же узнаю судьбу своего народа по рассказам старой болгарки.

Старуха подтянула к себе бостон, оперлась на него головой и застыла. Я не мешал ей и ждал, красочно представив всю процессию. Вернул меня в действительность резкий удар об пол. Старуха так возбудилась, что шарахнула бостоном по полу с невероятной силой.

– Вспомнила! Мехмет его звали. Рано ушёл из жизни, – сокрушённо уточнила она.

– В Болгарии турецкие имена не пользуются популярностью, – пояснил Никола. – Правды ради надо отметить, последнее время стали чаще появляться тюркские имена. Как-то я зашёл в одну школу в Златограде, – оживился Никола. – Стоит мальчик, лет восьми-девяти, спрашиваю его: «Как имя твоё?» Он отвечает: «Мустафа». Говорю ему: «Какой же ты Мустафа, ты болгарин?! Нас рядом поставить, люди скорее скажут, что я турок, чем ты – светлые волосы, глаза голубые». Он смеётся и отвечает: «Не-ет, я Мустафа». Ну, хочешь быть Мустафой, быть по-твоему, – и Никола хоть и рассмеялся, но горечь сквозила в его голосе.

– Болгар освободили от турков, город переименовали в Златоград, но всё было ещё турецкое, даже люди были ещё турки. Люди отпраздновали двадцатипятилетнюю годовщину освобождения, но всё еще не знали, радоваться или нет?! – равнодушно выслушав рассказ внука, продолжила повествовать старуха. – Идём к Хану. Мехмет шутит, подзадоривает: «Вот это свадьба! Мы будем самые счастливые на свете. У нас будет благословение от самого Хана!» Мне тоже хотелось посмотреть на Хана. По лицу Гюлтерие видно, что и ей интересно. Мы, дети, много слышали о нём от старших, но никогда не видели. Думали, Хан – это миф или находится где-то далеко, в Константинополе, а тут идём к нему пешком. Чудно!

– Здесь остановитесь, – легко коснувшись плеча Мехмета, попросил Бахтияр.

Думаю, он хотел урезонить молодого человека и нас настроить. Бахтияр посмотрел на всех с напряжением и указал рукой. Пошли в горку. Всю дорогу гадала, куда идём, и переглядывалась с Гюлтерие, но она только пожимала плечами. На середине горки все приумолкли – впереди показался купол храма Святого Георгия, и поглядывали то на провожатого, то на купол, но Бахтияр не обращал внимания на всеобщее вопрошающее недоумение, а, наоборот, осторожно взял жену под руку, и как на торжественном

марше они пошли рука об руку. Вся процессия остановилась у врат храма. Навстречу из церкви вышел старец в подряснике и митре на голове. Мне тогда подумалось – он нас ждал. Дьякон суетливо помогал ему надеть епитрахиль, ловко перекинув через голову. Тот всё принимал как должное и медленно продвигался к вратам. В калитке сначала показалась спина священника – старец принимал посох у дьякона, и когда обернулся, то перед всеми предстал отец Атанас, настоятель храма.

– Здравствуй, отче, – одними губами проговорил Бахтияр.

– Папа! – неожиданно воскликнула Гюлтерие. – Зачем мы сюда пришли?

Недоумённо переглядывались и родители Мехмета. Бахтияр не обращал внимания на истерику дочери:

– Вот, дочку замуж выдаём, – прошептал он, сдерживая слёзы, и с этими словами поклонился отцу Атанасу, а Демирка протянула рушник, в который был замотан свадебный калач. Этот рушник она собственноручно расшивала. Священник даже не шелохнулся. Он молчал и строго смотрел из-под густых бровей. Его взгляд остановился на каждом. Не обошёл и надменно-улыбчивых глаз Гюлтерие. Девушка, покрытая супружеским платком, не пыталась скрыть брезгливости.

– Мы долго будем здесь стоять? – не выдержав молчаливой паузы, воскликнула Гюлтерие. – Ты закончил? Мама! Что это такое?! Вы хотели испортить мне праздник? У вас это получилось! – в гневе она оттолкнула руку жениха, который попытался уговорить супругу, и быстро побежала вниз. Мехмет побежал догонять разгневанную невесту. За ними последовали родители Мехмета. Я слышала их недовольное перешёптывание. У самой ноги отнялись. Стыдно смотреть на отца Атанаса, и глаз оторвать не могу. Дети когда были, собирались компанией и, завидев православного священника, рожи кривляли, отпускали насмешливые шуточки в его адрес. И тут явилась, корова!

– Прости её, отче, – тихо попросил Бахтияр. – Дитя ещё.

Он крепче взял супругу под руку. Демирка оказалась не готова к дерзости дочери. Нахлынувшее волнение обессилело её тело, и она едва стояла на ногах, пряча глаза, затуманенные слезами. В этот миг не стало на свете более несчастных людей, чем Бахтияр и Демирка. Недовольство родителей и родственников Мехмета ставило свадьбу на грань срыва. Но мне было не до них, мною обуял позор. Могу понять истерику Гюлтерие. Дети мы залезали в его сад и воровали яблоки, груши, сливы. Шкодили по-всякому, не боясь, что накажут. Я слушалась Гюлтерие, она же постарше меня, и всегда говорила, что он неверный, мрасник. Как-то бросили в ведро с молоком дохлую крысу. Кто же из нас детей мог подумать, что православный священник и есть Хан, о котором часто в разговоре между собой с большим уважением упомынают взрослые?! Таким образом они прятали его от имамов. Отец мой в храм не ходил – учитель, просвещённый человек – веру в бога отвергал. Такое отношение отца тоже снимало с меня ответственность за шкгоды над неверным. Но, – старая болгарка пригрозила пальцем, – мой отец всегда уважительно говорил о Хане, и я думала, что мы такие же, как и Гюлтерие, и её родители, и все вокруг. В общем, кавардак был у меня в голове. Стоя перед вратами храма и глядя на отца Атанаса, вдруг всё упорядочилось в моей глупой голове, и жуткий стыд охватил меня. Неожиданно для себя я подумала: «Господи! Прости меня! Если отец узнает, что будет?»

Свадьба состоялась. Шло время – хороший лекарь. Гюлтерие жила в доме мужа. Всё потихоньку уладилось, и родители ждали внука, но после свадьбы две семьи больше не собирались вместе. Неожиданно Мехмет приехал в отчий дом супруги и попросил, чтобы жена пожила с родителями, пока не родит. Он очень волновался и боялся за Гюлтерие.

– Родители мои тоже считают, что так лучше будет, – не скрывая переживаний, объяснял цель своего визита Мехмет. – Мать говорит, символично для появления на свет болгарина-магометянина и Гюлтерие будет легче, если мама рядом.

Бахтияр и его жена обрадовались, места себе не находили. Устроили комнату для дочери, всю устлали коврами – были и родительские ковры, и ковры, подаренные родителями Мехмета, и когда та приехала, не могли нарадоваться. Особой, горделивой походкой ходил на работу Бахтияр, ведь внук появится в его доме!

Подходили сроки родить. Гюлтерие мучилась сама и измучила близких. Мать хлопотала рядом и, чтобы ни делала, ничто не облегчало страданий роженицы. Наступили дни, когда Гюлтерие уже не вставала и всё время кричала, пытаясь разродиться. Глядя на страдания дочери, мать не выдержала.

– Доску надо, – кладя руку на плечо мужа, попросила Демирка.

Бахтияр с тревогой посмотрел на притихшую на кровати дочь. То, что дочь у него в доме, Бахтияр принял как жест высокого уважения со стороны родителей Мехмета, и ему не хотелось испортить нала-

живающиеся отношения, когда с той стороны сделан первый шаг на сближение семей. Рождение внука должно примирить семьи.

– А если не поможет? – засомневался Бахтияр, чувствуя, как дрожит рука супруги.

– Я же её так родила, – отворачиваясь, сквозь подступающие слёзы проговорила жена. – Если бы не доска, умерла бы сама и дитё не родилось бы.

– Может, подождём ещё? – В памяти свежи были разногласия с родственниками. Бахтияру не хотелось новых недомолвок, и он добавил дрожащим голосом. – Плохой знак встречать наследника распрями в доме.

– Папа! – позвала Гюлтерие, уставившаяся в потолок помрачённым взглядом, и что-то ещё прошептала.

– Что? – оба родителя вскочили со своих мест и замерли, прислушиваясь к тому, о чём шепчет дочь.

– Иди за доской! – едва успела проговорить Гюлтерие, как новый приступ охватил её, и дикий, натужный крик роженицы прокатился по всем комнатам везирового дома. Казалось, сердце Гюлтерие не выдержит.

– Беги! – подтолкнув супруга в спину, Демирка кинулась к дочери.

– Думаешь, поможет? – обратила обезумевшие глаза на мать засомневавшаяся Гюлтерие, едва приступ попустил.

– Мне помогло, – держа дочь за руку, прошептала страдающая мать.

– Хорошо, – корчась от подступающих судорог, согласилась Гюлтерие. – Доска, значит, доска. Что угодно. Сил нет больше.

Хлопнула калитка, быстрыми шагами Бахтияр пробежал двор и заскочил в дом. Всем телом он прикрывал свёрток – что-то замотанное в мешковину – прижимая к себе и низко к груди склонив голову. Вместе с женой они вошли в комнату дочери. Гюлтерие встретила родителей беспомощным взглядом, полным мольбой о помощи. Демирка подтолкнула замешкавшегося супруга. Спихватившись, тот принялся разматывать мешковину и, бережно достав, подал обгоревшую с одного края небольшую доску жене. Демирка приняла её, повернула к дочери и, держа перед собой, направилась к кровати. Гюлтерие приподнялась на руках и в полумраке всматривалась в то, что подносила мать. Доска наплыла на незначительную полосу света, поступавшего из прикрытого плотной занавеской окна, и озарился женский лик, казалось, охватив весь земной мир своим взором. И Гюлтерие увидела себя в этом тёплом взгляде матери.

– Кто это, мама? – с затаённым дыханием, проговорила Гюлтерие.

– Это Божья мать, – едва Демирка это сказала, Бахтияр опустился на колени:

– Ты уже помогла нам. Подарила дочь. Она перед тобой. Мы её вырастили, выхолили и на твой суд представили. Не остави её – рабу твою, – взмолился Бахтияр, падая челом.

Дикий вскрик дочери, и тут же резко прервавшийся в мгновение спустя, захлебнувшись и чмокнув, раздался тонкий писк ребёнка, снова почмокали где-то в глубине постели, и скрежещущий детский плач наполнил комнату на радость старикам-родителям. Демирка быстро вытолкала супруга из комнаты. Счастливый дед, обливаясь слезами, заматывал икону в мешковину и спешил вернуть в тайник.

Родившегося мальчика сразу приложили к груди, и он засопел, потягивая первое материнское молоко. Ослабевшая, но успокоившаяся, с тихими слезами на глазах, смотрела на сына Гюлтерие. Руки у неё ещё дрожали, но она прикасалась к личику ребёнка, и от этого сердце её ещё сильнее заходило, перехватывая дыхание. Ребёнок сосал грудь и не реагировал даже на кожаный оберег, который соскальзывал с материнской груди ему на личико. Гюлтерие убирала оберег и улыбалась согревающему душу сочетанию – детского лица и фамильного оберега. Он достался ей ещё от прапрабабки, а может, ещё и древнее был, этот амулет, точно никто не знал. Гюлтерие гордилась тем, что именно ей бабушка передала родовой оберег. И вот теперь он нет-нет да спадал на лицо ребёнка, как бы желая послужить и ему защитой. Гюлтерие чувствовала в этом добрый знак.

Старуха закрыла глаза, оперевшись подбородком на бостон. Мне показалось, она уснула, утомившись длинным повествованием, и я старался не шевелиться. Самому было нужно время, чтобы осмыслить услышанное. Неожиданно старуха подняла подслеповатые глаза и внимательно посмотрела, словно ожидая вопроса.

– Почему доска? – поинтересовался я.

– С таким вопросом обратилась и Гюлтерие к матери, когда та зашла к ней в комнату, – старуха устремила свой взгляд в далёкое прошлое, казалось, она желала доглядеться до тех событий трёхсотлетней давности: – Три века назад, когда турки обращали болгар в свою религию, то заставляли их самих

сжигать свои православные храмы. Люди не боги, они слабые, потому бог им грехи и прощает. Спасая свои никудышные жизни, болгары жгли церкви, разрушали дома священников и принимали магометянскую веру, но не отказывались от своего языка, – старуха примолкла и, обернувшись ко мне тихо, проговорила: – Были и те, которые не отказались от веры, но заговорили по-турецки. Гагешти уста народ их прозвал. Люди слабые, – с сожалением покачала головой старая болгарка и, сделав глубокий вдох, продолжила: – Сожгли храм и предки златоградцев. Много позже какой-то слепой скиталец, ему турки выкололи глаза, разгрёб пепелище и отыскал икону Божьей матери. Огонь был страшный, а икона не пострадала, только край чуть-чуть подгорел. Люди спрятали икону и, чтобы турки не догадались, между собой стали называть её «доска». Наши иконы все написаны на хорошем дереве. Доски выбирали толстые, ореховые. Вот так доска стала служить болгарам-магометянам. В какую семью приходило горе, несли туда доску. Три века, из поколения в поколение болгары передавали доску, и она им помогала. Большим авторитетом пользовался у златоградских болгар-магометян отец Атанас, но и ему не показывали доску. Как он ни просил, обижался, не разговаривал с болгарскими-магометянами, и всё равно – отказывали. Он очень хотел вернуть икону в храм. Помогать никогда не отказывали, а доску отдать – отказывались. Когда крышу перекрыть в храме надо было, то первыми откликнулись болгары-магометяне.

– Почему же не показать икону? Ещё лучше вернуть на её место – в храм, – не смог скрыть и я своего недоумения.

– Э-э-э, – протянула старуха, грозя пальцем. Она важно подняла голову и торжественно произнесла: – Хранить в тайне доску завещали предки. Потомки не вправе их завет нарушать. Тайны, тайны... Они не появляются у народа просто так, а если и появляются – цена им жизни людские, культура, вера, язык. Всё лихо принимает на себя народ, чтобы с достоинством пронести завет предков и передать потомкам. Все наши беды в том, что мы заветы предков нарушаем, ломаем, исправляем, – с гневом в голосе подытожила старая болгарка, шандарахнув бостоном об пол.

– Слушай дальше. Тебе первую открываю тайну, которую хранила почти восемьдесят лет... – Старая болгарка, запнувшись, задумалась и едва слышно закончила: – Видно, настало время и этой истории выйти наружу.

Она сильно выкашлялась, отпила глоток воды и продолжила:

– Сделала своё дело доска и в семье Бахтияра. Второй раз помогла, но Троица сильнее, и, придя в дом Визировых, доска привела Троицу. Третье испытание ждало семью. Материнское счастье стёрло все переживания, и молодая мать набирала силы. Ребёнок кормился исправно, и смиренный мальчик родился. Как-то в одну из ночей, уморенная дневными заботами, Гюлтерие сильно хотела спать, а ребёнок не давал заснуть. Она подставляла ему грудь и засыпала. Будил её сильный плач младенца, который разрывался от крика, а виной всему оказалась муска, ну, оберег кожаный. Женщина засыпала, а амулет спал на щеку младенца, и тот, дитя неразумное, прихватывал его ртом вместо груди. Измученная тем, что младенец всё время хватал оберег, Гюлтерие в сердцах сорвала его с шеи и сунула под подушку. Младенец, ничем не тревоженный, наевшись, уснул. Наступила очередь Гюлтерие забеспокоиться. Сон как рукой смахнуло. Ребёнок мирно спал, а Гюлтерие ворочалась с бока на бок. Не давало ей покоя то, что она с такой лёгкостью сорвала оберег. Она достала его из-под подушки. Шнурок разорван, кожаный мешочек мокрый и измусолен ребёнком. Гюлтерие потёрла мешочек в руках, и старая от времени бечёвка, которой стягивалась муска, лопнула. Плохим предзнаменованием отозвалось это в сердце молодой матери. Душой содрогнулась Гюлтерие. Она прильнула к младенцу и поцеловала его, словно прощаясь. Дрожащими пальцами Гюлтерие раскрыла мешочек. Никто не знает, кто последним видел содержимое мешочка. Никто не знает, кто положил в муску то, что увидела Гюлтерие. На её ладони лежал серебряный крест с замысловатым древним рельефом – православное распятие.

Старая болгарка, раскачиваясь, умолкла надолго. Ни Никола, ни я не спешили прерывать молчание. Слишком тяжёлыми были мои мысли, да и выражение лица Николы красноречиво говорило, что и его думы тяжелы. Перед глазами предстали все потрясения молодой болгарки Гюлтерие. Услышанная история будоражила моё воображение, бесконтрольно рисовавшее развязку, не жалея ни меня самого, ни героини:

«С немим изумлением разглядывала серебряный крест Гюлтерие. Ясно вспомнился день, когда бабушка надела ей на шею родовой оберег и напутствовала:

– Эта муска досталась мне от матери, а ей передала её мать. Так из века в век, от матери к дочери. Будь достойна его и ты. Никогда не забывай, что ты дочь матери-Болгарии.

Тогда Гюлтерие гордилась тем, что именно ей, а не матери, бабушка передала оберег, и не задумалась над заветными словами. Теперь же, глядя на серебряное распятие, перед глазами встали и Хан – отец

Анастас, и доска – икона Божьей матери, и оберег со спрятанным от турков православным распятием – и заветные слова бабушки зазвучали по-новому. Она вспомнила тот день, когда все жители Златограда собрались на площади, чтобы выразить несогласие сановным духовным мужам, приехавшим из Турции и требовавшим перезахоронить магометян отдельно от православных. Отец её тоже выступал с трибуны. Он говорил о том, что мы, братья-болгары, живём рядом друг с другом и на том свете будем так же лежать. Гюлтерие стояла рядом с отцом, и её переполняла гордость, когда люди приветствовали выступление отца аплодисментами. Она разглядывала жителей Златограда и пыталась угадать, кого больше, магометян или православных, но видела одинаковые лица сынов и дочерей одной матери – Болгарии.

Тяжёлым потрясением отдались в сердце Гюлтерие неожиданные открытия всего, мимо чего она проходила и даже жила, не замечая и не задумываясь. Сердце разрывалось от боли неожиданного прозрения. Сграбастав дитя, как оно лежало в одеяльце, Гюлтерие прижала его к груди и ахнула, едва не свалившись на пол от бессилия:

– Неужели точно так разрывается сердце матери-Болгарии, когда она видит, как разрознены её сыны и дочери, когда она видит, как они покидают свою родину, когда она видит пустые сёла и брошенные отчие дома?

И снова образ бабушки встал перед глазами. Она подозвала к себе Гюлтерие и, протягивая ножницы, зарекла:

– Вот тебе моя последняя воля. Смотри! Исполни, – и протянула ножницы, вкладывая их в руки Гюлтерие. – Я скоро умру, так ты положи эти ножницы мне под руки, но не забудь раскрыть.

Гюлтерие зажмурилась. Она забыла. Ножницы положили, как завещала бабушка. Это сделал отец. Гюлтерие точно знала, что все болгары-магометяне кладут в гроб усопшим родственникам раскрытые ножницы, но только сейчас она ясно увидела, – это православный крест...

– Бабушка хотела, чтобы я собственными руками положила ей в руки православный крест, – прошептали ей губы и поджались в тонкую решительную линию.

Холодный камень мостовой обжигал ступни, но Гюлтерие медленно шла по предутреннему Златограду, крепко сжимая в руках запеленённого ребёнка. Она не рыдала, не плакала, просто по щекам лились тихие слёзы. В ладони она сжимала кожаный мешочек-амулет с серебряным крестом. Двери храма были приоткрыты. Немного замешкавшись, Гюлтерие уверенно потянула за ручку и вошла внутрь. В свечных бликах по алтарю передвигалась тень. Это облачался в церковные одежды отец Атанас. Медленным шагом Гюлтерие приблизилась к вратам господним. Только сейчас она почувствовала холод, и лёгкий озноб содрогнул всё её тело. Чтобы совладать с собой, она сильнее прижала младенца. Он ответил матери – закричал и расплакавшись. На детский крик обернулся отец Атанас. Всмотриваясь в темноту, он выступил навстречу матери».

Неожиданно тягучий голос старухи-болгарки прервал моё воображение.

– Дрожа от холода, обливаясь слезами, но крепко прижимая плачущего ребёнка, Гюлтерие опустилась на колени перед отцом Атанасом, и губы её прошептали:

– Окрести моего сына отче, – слёзы перехватили дыхание у молодой женщины, но она напряглась, что было мочи, и выпалила: – Раба божьего.

Я смотрел на старуху, в очередной раз потрясённый. Был уверен, что только мое воображение, но как получилось, что старуха продолжила представленную мною историю?

– Хух, устала я, – опираясь на бостон, попыталась встать старуха. Никола помог бабушке подняться, и они пошли на выход. Старуха держала внука под руку и, опираясь на бостон, медленно переставляла ногами. Когда они были в дверях, я вдруг спохватился, что не узнал, как зовут бабушку Николы.

– Простите, как ваше имя? Никола, как имя твоей бабушки?

На что послышался скрипящий голос старухи:

– Какое имя у старухи?! Напиши просто – старая баба из Болгарии...

Николай ТОЛСТИКОВ



Родился в 1958 году. Окончил Литературный институт имени А.М.Горького, работал в газетах. Принял духовный сан, и более пятнадцати лет – священнослужитель храма святого Николая во Владычной слободе города Вологды. Рассказы и повести публиковал в российских и зарубежных изданиях: еженедельниках «Литературная Россия» и «Наша Канада», журналах «Крещатик», «Новый Берег», «Чайка», «Русский дом», «Наша улица», «Север», «Лад», «Вологодская литература», «Венский литератор», альманахе «Литрос». Победитель в номинации «проза» международного литературного фестиваля «Дрезден-2007», лауреат «Литературной Вены-2008», лауреат международного конкурса, посвященного 200-летию Н.В.Гоголя, победитель конкурса имени Ю. Дружникова на лучший рассказ журнала «Чайка» (США). Проживает в России, г. Вологда.

Лазарева суббота

Повесть

Из жития преподобного Григория

15-й век

Звон плыл тихий, нежный, бархатистый. Будто там на другом, высоком берегу реки в глубине векового соснового бора таилась звонница, и игумен Григорий, в изнеможении распростершийся на ворохе опавших жухлых листьев, попытался приподняться, надеясь разглядеть поверх сосен ее увенчанный крестом шатер.

То ли сон, то ли явь...

Рядом зашевелился, зашуршал листьями назвавшийся поповским беспризорным сыном молодец Алексий. Корячась поначалу на четвереньках, он потряс лобастой с прямыми, как солома, желтыми волосами башкой, крикнув, вскочил на ноги и, заметив протянутую сухую узкую длань игумена, помог ему встать.

– Слышь, Алекса, звонят!

– Откуда ж! – отозвался парень. – В ушах ежели, с устатку...

Глаза Григория еще больше запали в глазницы, лицо с редкой седою бородкой осунулось, потемнело. Последние дни почти непрерывного хода тяжело давались игумену, доканывали его. Еще седмицу назад, когда Алекса подкрадывался к его костру, взирая настороженно на согбенную над пляшущими языками огня фигуру, игумен выглядел куда бодрей. На наступившего ненароком на трескучую хворостину парня, которому ничего не оставалось делать, как выйти из укрытия или же задать деру, глянул остро черными угольями глаз: не было в них боязни.

Алекса, пригревшись возле костра тем утром, так и не отставал больше от монаха, стараясь услужить, изодрал в кровь руки и лицо, одежку в лохмотья, пробивая бреши в густом чапарыжнике, где и звериные-то тропы кончались. А спросить, куда и зачем шел, побаивался.

Весна запоздалая, в лесу полно воды, по низинам снег не истаял, а тут еще зазимок шалый хватил, забросал крупными снежными хлопьями.

Всю ночь жались к потухающему костру странники, под утро едва не застыли, только и спаслись, сидя спина к спине. Парень уж подумывал удрать, тем более сухари в котомке инока кончались, и остаточек этот с собою прихватить...

На речном берегу познабливало свежим ветерком, после ивняковых и черемуховых зарослей, вымотавших из путников последние силешки, дышалось легче, привольнее. Алекса вдруг отпрянул в сторону, с воплем бросился к бочагу, заскакал около, сдергивая с себя рубаху. Глаза слепило от колышущейся в прозрачной воде серебристой рыбьей чешуи.

– Не допустил Господь до греха! – бормотал парень, излаживая из рубахи подобие большого сака. Прошло немного времени, и первая рыбина, выброшенная на берег, забилась, затрепетала.

Игумен стоял по-прежнему неподвижно на берегу, прикрыв глаза. Не обо всем еще сказал он парню... Когда слышал тот чудный звон, почти осязаемо разлитый в воздухе, увидел женщину на той стороне, стоящую у крайней к воде сосны, светлу ликом, так что взглянуть на нее было невмочь, как бы ни хоте-

лось. В первый миг показалась она Григорию похожей на матушку. Сердце радостно ворохнулось и забилось, тихий ее голос почудился родным, ласковым: «На сем месте храм поставишь во имя мое... чтобы молиться за всех...»

«Пресвятая Богородица!» – осенило игумена. Пораженный видением, он пал на колени и долго, истоково молился. Алекса меж тем, раздув теплину, дожидался угольков, приноровляясь жарить вздетые на прутья куски рыбы.

– Останемся тут, – Григорий тяжело поднялся с колен и подошел к костру. – На том берегу келью первости ладить зачнем.

Обрадованный Алекса после сытного обеда не поленился разыскать на реке брод, и когда переправились, на том месте, где явилась игумену Пречистая Дева, обнаружился темной породы плоский огромный валун. Из него-то, отколупывая резцом мало-помалу (и капля камень точит), принялся Григорий тесать крест.

Глава 1. Любка-Джон *Советское время, 70-е годы*

Чью-то лодку, запрятанную в кустах ивняка у самой воды, первой заприметила Любка.

– Пацаны! – приказывая, небрежно кивнула она головой с коротко стриженным ежиком в сторону находки.

Пацаны, лет под восемнадцать, Валька с Сережкой – они и черта рогатого своротят – с ревом лихо полomились напрямки через кусты, и не успела Любка – ростиком метр с кепкой, сухонькая, конопатенькая, в дешевом джинсовом костюмчике, суший паренек пареньком – и сигаретку досмолить, как плоскодонка ткнулась носом в берег возле ее ног. Любка, выплюнув окурочек и цыркнув слюною сквозь обкуренные до черноты зубы, сунула бережно одному из парней сумку с бутылками дешевой «мазуты», легко впрыгнула в лодку.

Приятели уставились выжидающе на новую знакомую Катю. Та, едва добрались сюда, устало повалилась на берег и полулежала теперь на траве, заголив полные загорелые ноги и завесив красивое, с подпухшими подглазьями лицо спутанными прядями крашенных волос.

– Слабо, краля! – хохотнула Любка.

Катя, вздохнув, поднялась с земли. Гулять так гулять! Парни, робко поддерживая ее горячее, обтянутое тоненькой тканью сарафана тело, помогли ей забраться в лодку, примоститься на носу. Сережка оттолкнулся от берега веслом, и на середине речки просевшую почти до краев в воду посудину подхватило бойкое течение.

– Мы куда хоть? – спросила Катя у Вальки.

Он пожал плечами, покосился на воротившую в сторону веснушчатый носик Любку: «Поди, и сама командирша не знает!» Любка, видать, всю желала от новой знакомой отделаться. Уж на лодчонке-то, гадала, эта бабенция не поплывет, струсит. И чего в ней пацаны хорошего нашли! Сразу видно птичку по полету, и вдобавок – старуха под тридцать. Но как на нее Валька пялится! И Сережке, того гляди, ворона в рот залетит!

Дернуло же сегодня завалиться за стаканом к Томке!.. У нее, матери-одноночки, в квартирке обычный бардачок. Сама же хозяйка куда-то усвистала, забыв даже дверь запереть. Друзей-приятелей это обстоятельство ничуть не смутило, благо на столе, заваленном грязной посудой и объедками, обнаружилось все необходимое. Успели уж захмелеть слегка, задымили в три трубы – Любка угощала «Нищим в горах», то бишь «Памиром», когда вздумалось Вальке заглянуть в комнатку-боковушку. Заглянул малый и пропал. И Серега – следом.

Любка сама любопытствовала... На кровати разметалась спящая полуголая молодая женщина, парни тормошили ее, пытались разбудить. Дама бурчала что-то спросонок, наконец открыла глаза и, воздев руки, обхватила за шею склонившегося над нею Вальку, притянула его к себе и сочно поцеловала прямо в губы.

– Иди к Катюше... Сладкий какой! Кто ты! – растомленно прошептала она.

Сережку в угол комнаты словно пружиной отбросило – как бы его, дикаренка, тоже не расцеловали чего доброго. Валька в женских объятиях всякое чувство потерял, оцепенел. Любка, презрительно фыркнув, вышла из комнатки, но по сердчишку ее неприятно прокарябало, будто острым камушком прошаркнуло. Расстрепанная, в накинутой кое-как на голые плечи кофточке, постанывая и потирая виски, дама выбралась на свет божий – и тут же пацаны к ней каждый со своим стаканом кинулись спасать.

– Опохмелься, Катюша!

Катюше за столом вскоре стало жарко, немоготу, запросилась она на волю. В погожий летний денек, хотя и близко к вечеру – знойно, в тень бы поскорее сунуться. Поплелись на речку...

Городок на холме давно остался позади, пропал из виду, река петляла между заросшими непролазным ольховником и ивняком берегами, то сужаясь так, что над головами путешественников едва не смыкались ветками кусты, то растекаясь в широкое светлое плесо. Течение легко тащило лодку, Валька, сменив Сережку на корме, лишь лениво пошевеливал веслом, пяля на Катю ошалелые глаза. Тихоня Серега и то подлез к ней с колодой картишек, пытаясь показать фокус-покус. Катюшка рада-радешенька! Задрала подол, выставила округлые свои коленки и – присушила, зараза, ребят! Любка с досады едва губы зубами не измочалила. Да что б они, два тюфяка, без нее делали! Сидели бы сиднями по домам, не смея вечером высунуть на улицу нос или б комарье по рыбалкам кормили...

Это она, Любка, научила их винишко попивать, парни покорно канули за своей наперсницей в полуночное шлянье по городку и девок по общагам тискать. Ведь Любку – кто ее не знает – от заправского парнишки не отличить, вся ухваточка мальчишечья. Она и сама не помнит, когда последний раз платье надевала. Почему так – Любке и не ответить. У них в семье детки шли, как грибы после дождя, и все одни девчонки. Старшая Любка, с младых ногтей порученная попечению частенько пьяненького папы, исправно переняла все мужские привычки и пристрастия. Девчушки теперь с насмешками ее сторонились, и парни в свою компанию не брали, не ведая, с какого боку к ней подходить.

Любка затосковала было, но тут-то и подросли два двоюродника брата-акробата Валька и Серега. Любку с обоюдного согласия переименовали в Джона – загадочно и непонятно – и стала она за атамана, отчаянную головушку. Джон вовлекала ребят в такие круговерти приключений, что они про себя забыли – одна бесшабашная подруга была на уме, жди-дожидайся, что завтра вытворит. Любка распивала с ними бутылочку-другую – человек состоятельный, рейки все ж на пилораме собственноручно грузила – и дальнейшее само катилось-ехало. То набег на чужой огород, а то просто попойка до упаду.

В зимнюю пору, когда мороз не позволял долго шляться по улице, Любка нашла пристанище в женском общежитии ПТУ, где учились на счетоводов молодые инвалиды. По вполне понятным причинам сии обитатели не толклись в городковском клубе или в прочих людных местах, остерегаясь насмешек местных дураков, и Любке не приходилось бояться, что недоброжелатели выдадут ее истинный пол. Джон так втерлась в роль кавалера-залеточки, что свои парни чуть не запомнили настоящее ее имя, а уж девчонки в общежитии были готовы начать ухажера дележ. Но Любка обстоятельно выбрала себе сударушку и, уединяясь в темных уголках, тискала ее и лобызала на тайную потеху себе и братанам. А потом как-то попривязалась к инвалидочке, жалея ее, иногда начинала чувствовать себя неловко и пакостно. Но однажды была разоблачена и с позором вышвырнута разъяренными инвалидками из общежития...

Из узкого, стиснутого берегами, речного русла течение вытолкнуло лодку опять на чистый широкий плес, и впереди на высоком зеленом взгорке замаячили, забелели развалины церквей, пестрея багряно проломами в стенах.

– Монастырь! – Сережка завозился с веслом, пытаясь пристать к плотнику у берега. – Мы тут с батей сколь рыбы перетаскали! И куда дальше плыть...

По берегу вилась еле заметная в траве тропка. От деревни у погоста уцелела тройка домов, да и те кособочились под провалившимися крышами, пугающе зияли пустой чернотой оконных глазниц. Тропинка, попетляв по улочке, заросшей бурьяном, уткнулась в загороду, обнесенную толстыми отесанными жердинами. Маленький ухоженный домишко в ней приветливо поблескивал окошечками в резных наличниках. Рядом, на лужайке, лепилось с пяток пчелиных ульев.

– Гад тут один живет! – кивнул Серега в сторону дома. – Буржуй недорезанный! Граф, говорят...

– Хрен с ним! Сядем тут! – опустила сумку Любка.

Предстояло управиться с целой батареей «мазуты», мутной, с радужными разводьями, закупленной на бранные останки Любкиного аванса. Вдобавок пить пришлось из одного стакашка. Гуляки не заметили, как стемнело. С реки потянуло холодом, в мокрой траве нестерпимо заныли ноги. Винишко тяжело, дурью, ударило в головы, замутило, завертело в утробах, и все собутыльники, подрагивая, с отрешенными взорами, стали жаться спина к спине на более-менее сухом от росы бугорке. Набрать возле заброшенных домов хламу и запалить теплинку, всем было невмочь, лень. Один тихоня Сережка, дотянув из бутылки остаток вместе с мерзкими ошметками на дне, раздухарился – уж больно не давал ему покоя незнакомый остальным обитатель домика за изгородью.

– Он, сволочь, нас с батей под штраф подвел, рыбинспектор-доброволец тоже мне! Не одну сеть, падла, изничтожил! – Серега, не в состоянии перебороть праведный гнев, засипел, завсхлипывал, еще б чуток и слезу пустил.

– Так вы б ему рога поотшибали! – откликнулась зло Любка, наблюдая за Валькиной рукой, воровато подлезавшей Катюхе под платье. – Слабо, дак не вякайте!

– Нам? Слабо?! – вскинулся Сережка и, поднявшись кое-как, болтаясь из стороны в сторону, направился к дому. – Эй, ты там! Трухлявый пенек! Выходи!

Серега наклонился, нашарил в траве камешек. Рассыпалось со звоном в окне стекло, все насто- рожились.

– Дома никого нет! Голик! – обрадованно крикнул Серега.

Голичок, приставленный к двери, он отопнул и, вжав голову в плечи, нырнул в темноту сеней.

– Поглядим, как гад живет!

Внутри дома прогрохотало – Серегу, видать, стреножила какая ни есть мебелишка. Через секунду тяжелый деревянный стул-самоделка, вынеся начисто раму, вылетел из окна на улицу. Следом – в по- лом проеме показалась озверелая Серегина рожа. Раскрутив перед собой вертолетиком лампадку на цепочке и отпустив ее, парень торжествующе взорал и опять унырнул в темное нутро избы, производя там ужасающий грохот.

Любка и Валька подскочили, как по команде, и понеслись на Серегины вскрики, начисто забыв про спутницу. Кровь буянила, толкалась в голове, кулаки зудели и чесались. Так, бывало, друзья сбегались потрясти в подворотне возле инвалидской общаги припозднившегося гуляку-студента, который после пары тумачков был готов отдать что угодно.

Серега, ухая, кромсал топором обеденный старинный стол, громоздившийся под образами в перед- нем углу избы. Любка с порога нацелилась на поблескивающий стеклянными дверцами посудный шкаф, звезданула его что есть силы подвернувшемся под руку табуретом и восторженно завизжала под звон осколков. Вскоре в домике из вещей не осталось ничего целого, все было разбито, растоптано, исковер- кано. Любка сняла с божницы иконы и, деловито запихав их в сумку, вынесла на крыльцо.

– Идиоты, попадетесь на них, попухнете! – покачала головой, стоя у изгороди, Катя. – И счастья не будет.

Джон сердито зыркнула на нее, но иконы высыпала обратно за порог.

Опять стало скучно. Стемнело, вино допили, озябли. Лишь Серега никак не мог угомониться, бродил по задворкам.

– Пацаны! – радостный, выкурнул он из потемок. – Там банька натоплена и вода еще горячая! Пошли греться!

К бане рванули напрямик через огородишко, но у двери, откуда несло ядреным запахом березового веника, затоптались. Катька вдруг звонко, озорно рассмеялась и, оглядев малость подрастерявшую- ся компанию, сдернула через голову сарафан. На приступке напротив двери она рассталась со всей остальной одежкой и, призывно махнув рукой обалдевшим ребятам, исчезла в жаром пыхнувшей, черной утробе бани.

– Да идите же сюда, вахлаки! Веничком попарьте, страсть люблю!

Валька и Серега, озираясь друг на друга, путаясь в штанинах, кое-как разделись и, прикрываясь ладошками, как на медкомиссии в военкомате, нерешительно пролезли в баню. Катьку в кромешной тьме было не видно, ребята скорее угадали, где она есть. Пробрякала крышкой котла, зачерпывая воду, шваркнула ковшиком на еще не остывшую каменку. Пар заурчал, жгучей волной ударил по банщикам. Они тут же все трое, пригибаясь, сбились в исходящую потом кучу.

– На-ко, постегай! – Катька сунула в руки Вальке веник.

Парень молотил им от всей души то ли по Катькиной, то ли по Сережкиной спине – не разобрать, но когда стало казаться, что грудь вот-вот разорвется от нестерпимого жара, как спасение раздался около уха Катькин голос:

– В реку бы, мальчишки! Айда!

Любку, скукожившуюся в своем джинсовом костюмчике на приступке у банной двери и клацающую от холода зубами, парильщики едва не пришибли дверным полотном. Поднявшись с земли, она долго еще посылала вслед удалявшимся в сторону реки трем белым фигурам, отчетливо видимым при свете выкатившегося из-за облака месяца, смачные матюги, потом, услышав бульканье на речном плесе, истошный Катькин визг и довольный гогот парней, отвернулась и уткнулась лбом в стену, жалобно и бес-

помощно захныкав, как обиженный ребенок. А вопли, визг, хохот разносились по ночной реке, дробились, рассыпались отголосками в мрачных монастырских развалинах. И на все пялились угрюмо пустые черные глазницы разоренного дома.

Из жития преподобного Григория

Камень трудно поддавался зубилу, сыпал искрами, отлетевший далеко мелкий осколок рассек игумену бровь, чудом в глаз не угодив. Григорий, оставив свою работу – явно уже наметившийся остов креста, приложил к ранке тряпицу, пытаясь унять кровь. Дело все же с молитвою и божьим упованием, да двигалось. Между молитвами было время и поразмыслить о житье-бытье, вспомнить молодость.

...Младенец тогда княжеский едва не захлебнулся в купели: у крестившего его Григория в груди захохотнуло. Родившийся прежде времени княжич и так чуть дышал, сморщенное его личико было не розовым, а иссиня бледным, и, хлебнув воды, он вовсе посинел. Его б крестить в жарко натопленной домово́й церкви, а не под высокими холодными сводами главного городского собора. Но пожелал так отец – князь Галичский и Звенигородский Юрий, младший сын Димитрия Донского. Стоял рядом с Григорием, по-медвежьи грузный, через все лицо – нитка старого шрама, лохматая борода в разлапинах ранней проседи. Глядел он сурово, исподлобья.

Велика честь крестить княжого сына, входить в покои без доклада, любому твоему слову князь внимает! Такой чести батюшка покойный не ведал, хотя и боярином верным был... Эх, велика честь, велика!..

Взгляд Юрия из торжественно-безучастного стал тревожным, косматые брови вовсе насупились. Слава Богу, младенец захекал, задышал, сердчишко в его тельце затеплилось, заколотилось отчаянно, и Григорий торопливо сунул крестника в теплые сухие полотна в руках княгини и мамок. Ладанка-дощечка с закапанными воском волосиками младенца было закрутилась на месте, пущенная в купель, но не утонула, поплыла. Княжича нарекли Димитрием.

«Вот шемякнул-то его игумен, еле не захлебался...» – ехидно подначил кто-то из соборных служек. С молодых лет и закрепилось за ним прозвище – Шемяка.

На княжом пиру Григорий не задержался, чуть пригубил из кубка меда, благословил вставшего поспешно вслед за ним князя и сел в монастырский возок. Лошадь, подгоняемая послушником, миновав городские ворота, проворно потащила его по наезженной колее через поле к чернеющим вдалеке маковкам церковей монастыря. Лишь за вечерней службой, внимая братскому хору, потом в келье, стоя на коленях перед образами и вглядываясь в мерцающий огонек неугасимой лампы, Григорий почувствовал успокоение. И видел себя болезненным отроком, вот так же стоявшим на коленях в домово́й церкви перед иконой Спаса Нерукотворного, боялся заглянуть в темные бездонные зрачки и все больше сжимался, облизывая соленую влагу на губах. Господи, помоги, как быть-то!..

Отец, боярин Лопотов, задумал женить пятнадцатилетнего сына. Времечко охо-хо-хо лихое, подтатарское, от единственного чада потомства бы дожидаться поскорей, мало ли чего – и все добро прахом. Да вот беда – боярчонок на девок не заглядывается. Ему бы в молодшую княжью дружину, меч учиться твердо в руках держать, а его при первой же пустячной потасовке промеч собою отроки из седла выбили, после ушибов да перепугу еле с ним потом отводились. Князь поморщился: худой воин. И верно, по богомольям бы только Гришаньке таскаться, колокольный звон, раскрывши от восторга рот, слушать.

– Тятенька, а как же я Бога любить буду, коли мне и жену надо будет любить? – спросил и уставился немигающе на отца голубыми ясными глазами.

Боярин отвел взгляд: ничего, женим – посмотрим. Невестушка была давно у него на примете. Дока друга молодости, воеводы князя московского Василия Дмитриевича. Со сватами и сами всем семейством и челядью надумали ехать...

Глава 2. Городок

Начало 80-х 20-го века

Валька Сатюков вернулся из армии в свой городок и не узнал его. Черноголовые смуглолицые парни целыми ватагами нагло, никому не уступая дороги, перли по центральной улочке, и городишко походил на южный курорт.

Откуда Вальке и землякам его было ведать, что кто-то самый упертый в областном руководстве, мечтавший одним махом ликвидировать нехватку кадров специалистов в совхозах и колхозах, затеял эксперимент. Шустрые полуголодные эмиссары-преподаватели из городковско́го полупустого сельхозтехникума немедленно десантировались в поднебесные аулы где-то в кавказских горах и вскоре привезли с собой

«улов», от которого взвыли впоследствии не только они сами, но и весь городок, а в районе и в области ответственные товарищи за черепушки схватились.

Попервости местная пацанва пыталась организовать сопротивление иноземцам, однако, разрозненные, извечно, с отцов и дедов, враждовавшие между собой группки аборигенов с разных городковских концов оказались смяты и с позором ушли в «подполье». Пока налетевшая в мгновение ока, словно саранча, орава кавказцев тузила одних, другие топтались поодаль и посмеивались, хлопая ушами.

Разгоряченная южная кровь до рассвета гоняла гомонящие толпы взад-вперед по центральной улице, и если попадался им на пути подпитой мужичонка или парень, то без хороших тумачков не уносил ноги. Побывавшие единожды в переделке жители, пересекая за какой-либо нуждой «централку», припасали на всякий пожарный березовое полено или увесистый кол. В боковые улочки и переулочки пришьельцы, как истинные оккупанты, не совались, опасаясь партизанской борьбы.

Обосновались они и в Доме культуры, бывшем соборе, обезображенном и опоганенном. И местный вокально-инструментальный ансамбль на танцах через раз наяривал «лезгинку». Кавказцы вставали в широкий круг, оттесняя в углы зала кучки девок и безропотных отчаявшихся зайти сюда пацанов. В круг выскакивала пара самых шустрых и откалывала колена. Танцоры менялись; пьяненькие девчонки, пробравшись в круг, тоже пытались неумело сучить и топтать ножками, но после взрыва хохота были выбрасываемы вон. Одну такую кралечку не шибко вежливо облапил запыхавшийся танцор, потащил к выходу, где и столкнулся с глазевшим ошеломленно на все происходившее Валькой. Сатюков, нехотя посторонившись, буркнул словцо, посмотрев с презрением на девчонку.

– Заткнись, дурак! – та вцепилась крепче в рукав кавалеру, но было поздно.

Кавалер, словно инопланетянин, издал тревожный гортанный звук, и мгновенно набежавшие его собратья стайей голодных дворняг вцепились в Вальку. Он прикрылся локтями от посыпавшихся ударов; его оттеснили в сторону от входа, утащили в скверик около и там уж принялись по-настоящему отводить душеньку. Прогуливавшиеся зеваки, охмуренные первомайской погодкой, косились с любопытством и опаской в сторону трещавших в сквере кустов и старались поскорее прошмыгнуть мимо. Лишь Лаврушка Кукушонок отважно сунулся в сумрак сада: «Вы че, ребята?! Опупели?» Получил по лбу и, преследуемый тройкой «черкесов», сделал ноги. Да разве словишь его: легкое тельце Кукушонка воробушком порхнуло над ближайшим забором.

От Вальки отхлынули так же разом и скопом, как и налетели. Харкая кровью, Сатюков долго еще корячился на четвереньках под кустами; у него хватило силенок выползти на смежную со сквером глухую улочку. Здесь и споткнулся об парня, лежавшего врастяжку поперек тропинки, кто-то.

– Юнец, а напился в стельку. Молодежь!

– Погоди, не бухти понапрасну! Ишь, как его извозили!

Вальку подняли и усадили на задницу два мужика, в темноте не разглядеть – чьи, да и голоса их до Валькиного слуха доносились, будто сквозь вату – по ушам, что ли, так те гады-обидчики повешали. Сатюков не дергался, когда его повели под руки куда-то: главное – свои, родные, русские, он уж слезу готов был пустить. Очутившись в избе, заваленной едва не до потолка железным заржавленным хламом, при тусклом свете лампочки Валька узнал одного из своих спасителей – Сашку Дорофеева, по прозвищу Бешен. А другой, приволокший таз с холоденкой, – Ваня Дурило, юродивый! Вот так компания, два известных в городке дурака...

Сашка окончил в городке школу с золотой медалью, потом – один за другим – два института, осел в Питере важной шишкой в каком-то конструкторском бюро, но вышла загвоздка: загуляла красавица-жена. Кончилось разводом, квартиру сразу разменять не удалось. Бывшая супружница без зазрения совести приводила любовника, спала с ним. А Сашка сгорал от ревности за тоненькой стенкой в соседней комнате. Жену-то он любил! И у него тогда, ночь за ночью, потихонечку съехала «крыша»... Так болтали в городке, когда Дорофеев со «справкой» возвратился к старушке-матери и, потыкавшись туда-сюда, притулился разнорабочим в конторе по благоустройству. Он исправно махал метлой, подметая тротуары, лазил с ножовкой по деревьям в парке, опиливая сучья, высаживал на клумбах цветочки и даже в подручные к главному городскому ассенизатору Федору Ключе иногда попадал.

Все, что его ни заставляли, Сашка выполнял безропотно, только порою на него находило: выкатив испещренные красными прожилками белки глаз, он начинал торопливо лопотать что-то, непонятное и загадочное для порядком струхнувшего невольного слушателя, которому вцеплялся в рукав. Гражданин убегал; Сашка неся следом. Огненно-рыжий, с обросшим густой щетиной лицом, в потрепанной, одной и для гулянки и для работы одежке, мчался он, едва не бороздя землю длинным носом, и не приведи Го-

сподь, если натыкался опять на кого. Тот несчастный, даже и не робкого десятка, только что не напустил в штаны, столкнувшись с его отрешенным, диким взглядом. Бешен, да и только!

Валька с двоюродником Серегой подрядились как-то пилить дрова у одной бабки. Напросился в подмогу Лаврушка Кукушонок, шкет двенадцать лет от роду. Проку мало, но да за ручку пилы дергать сможет. Бабка разочлась, денег хватило аккурат на «магарыч», и расправляться с ним парни забрались на чердак сарая соседнего с сатюковским дома, где хозяйева отлучились в гости. Валька спер из дому полбуханки черного хлеба, лучок и редиску позаимствовали на грядках у соседа. Кукушонок от предложенной шутиливо стопки не отказался, и парни – скоро в армию – изумленно наблюдали, как Лаврушка, птенец желторотый, набрав побольше воздуха и выдохнув, лихо опрокинул угощение. Глаза у мальчугана вылезли на лоб, но прочухался он скоро, уткнувшись носом в хлебную корку.

– У меня навык имеется, после мамки завсегда выпивон остается, – набив полный рот перьями лука, редиской, хлебом, умудрялся при этом бурчать Кукушонок. – Жрать не найдешь, а бухнуть завсегда есть. Отец денег мне прислал на ботинки, так она винища накупила.

Кукушонок пошевелил пальцами босых, грязных ног. Когда стемнело, парни намерились прошвырнуться по огородам, пошибать незрелых яблок. В ближайших садиках оказалось пусто, оставался крайний в квартале огород – Сашки Дорофеева. К этому времени захмелевший изрядно Лаврушка совсем скис, пришлось его тащить на себе. Яблонек в Сашкином подворье не отыскалось вовсе, обескураженные пустой тратой времени ребята принялись перетаскивать бесчувственного Кукушонка через высокий забор на улицу. Могли бы перекинуть да побоялись зашибить заморыша. Сережка, чертыхаясь, преодолел препятствие, оставив на гвозде клочок из штанов. Приготовился принять Лаврушку на той стороне, но малый, наброшенный на верх забора, застрял, зацепившись пояском за заостренные концы досок. Серега потянул Кукушонка за руки, Валька стал подталкивать за пятки, забор затрещал... Хлопнула дверь на высоком крыльце, луч фонарика бестолково заметался по огороду.

– Враги! Тревога! К оружию! – заблажил Сашка.

Сережка рванул от забора вдоль по улице, Вальке ничего не оставалось делать, как залечь промеж картофельных боровков. Кукушонок же свалился в подзаборную траву. Сашка, сбежав с крыльца, погнался за Серегой – топот его ног, обутих в кирзачи, разносился далеко окрест. Тускло, робко зажглись уличные фонари. Дорофеев вернулся запыхавшийся, что-то возбужденно лопоча под нос. В правой Сашкиной руке блеснул лезвием топор. Валька, трусясь как заяц, плотнее прижался к земле. Он долго лежал, не шевелясь, продрог весь, хотя и услышал, как скрипнула дверь за Сашкой, проскрежетал задвижкой засов. Пригибаясь, чуть ли не ползком Валька пробрался к забору и как сиганул через него – не заметил!

У родимого дома к Сатюкову метнулась тень. Серега! Двоюродники жадно досмолили прибереженный чинарик, собрались разбежаться по лежанкам, но... надумали Кукушонка поискать: беспокойно было на душе. Только решили идти, когда рассветет, в темноте-то боязно, вдруг Сашка где-нибудь подкарауливает. Кукушонок дрых себе, свернувшись калачиком в траве под забором, а рядом на песчаной проплешине на тропе отпечатался след Сашкиного сапога. Шагни бы Бешен чуток в сторону...

Теперь вот Валька – ни жив ни мертв – сидел на табуретке, приваленный спиной к стене в доме Бешена, и сам хозяин пристально разглядывал его, комкая в руках белую тряпицу. Мужики принялись врачевать ссадины на Валькином лице – все ж потом поменьше мамкиных ахов и охов будет.

– Бьют-то слабо, не по-русски, – проворчал Ваня Дурило, оставляя в покое хнычущего Вальку и раздирая пятерней на груди густую шерсть, где запутался, поблескивая, большой медный крест.

Из жития преподобного Григория

На узком волоку, сдавленном с обеих сторон дремучим лесом, на сватов накинудись ратные люди.

– Татары! – заполошно завопил кто-то из передних холопов, увидев преградивших путь всадников в лисьих малахаях, и тут же, пронзенный стрелами, грянулся оземь.

Татары еще пошибали кое-кого из луков, но сами стояли, скалились и, щуря усмешливо узкие глаза, в сечу не лезли. Рубились свои, русские, жестоко, нещадно. Прильнувшего испуганно к возку, где причитали санные девки и матушка, Григория рывком оторвал спешившийся с коня отец.

– В седло! Скачи, авось Господь смилуется, и жив останешься!

Только помог боярин сыну влезть на коня, как метнулся к ним из гущи дерущихся русоволосый молодец, занеся над головою меч. Но отец упредил: боевой топор рассек воздух и впелся лихоимцу острием промеж наглых голубых глаз – кровь забрызгала одежду на Григории и белый круп коня.

– Гони обратно! – крикнул отец оцепеневшему в седле сыну и взмахнул плетью.

Кто-то из засады бросился ухватить коня под уздцы, да куда там! Обоженный и оскорбленный болью жеребец – подарок князя – яростно оскалился, и охотник отлетел прочь. Тонко запели стрелы, одна больно чиркнула Григория по плечу, он еще плотнее прижался к конской гриве. Крики, топот позади отстали, стихли. Жеребец нес и нес... На подворье холопы словили коня, у оклемавшегося отрока попытались, что да как, какое лихо настигло. Князь Юрий снарядил на место засады гридней, но те вернулись вскоре, и следом за их конным кольчужным строем выскрипывали телеги с голыми изрубленными телами, закинутыми попонами. Никого не пощадили лихоимцы. Горько плакал над гробом родителей Григорий, а после печальной тризны, никем не замеченный, убрел пешком в монастырь и пал в ноги седому архимандриту.

– Прими в обитель, отче... Пострига желаю.

Старец неспешно благословил отрока, подставил для поцелуя высохшую, пропахшую ладаном длань.

– Знаю, тяжело тебе в горе, боярин, но укроешься ли от него в наших стенах? От себя-то ведь не схоронишься. Не подумавши, не будешь ли потом каяться?

– Отче, я Господа с молодых лет возлюбил... Молился, чтоб наставил на путь служения ему. И вот... Не чаял, что так будет, видно, время мое пришло.

– Ладно, сыне, – смягчился архимандрит; суровые глаза его под низко надвинутым клобуком посветлели. – Будь послушником, испытаем тебя.

От монастырских ворот бежал, торопился к Григорию запыхавшийся управитель имения. Отвесил поясной поклон:

– Хозяин...

– Слушай наказ мой! Имение свое раздаю всем нуждающимся в память о батюшке с матушкой. Рабам – волю. А сам, раб Божий, здесь остаюсь, – Григорий, оставив ошеломленного управителя, повернулся и посмотрел туда, где над входом в храм яро сияла ризою в лучах клонившегося к закату солнца икона Пресвятой Богородицы с Предвечным Младенцем на руках.

Глава 3. Валькина суббота

80-е годы века 20-го

Валька, после того как его извозили в саду, тоже ушел в «подпольщики». Обосновался он в бабкиной заброшенной хибарке на задворках родительского дома. Сюда стали иногда забредать бывшие одноклассники, как и Сатюков, потрепанные в уличных потасовках. Вечером после стакана «бормотухи» все ощущали себя героями; стоял гвалт, румяные красивые мальчики спорили, клялись, хвастались, а во главе стола восседал и сиял довольный Валька. Его «предки», заходя с проверкой, захлебывались в плотном табачном тумане и, проморгавшись, слегка успокаивались, видя одни и те же лица.

«Посидят, попьют. Перебесятся. Чем бы дитя ни тешилось... И с «чурками» драться, глядишь, не бегают. Хоть так да уберегутся. А чадо родное, мотавшее армейские сопли на кулак, пускай отдохнет, развеется малость...»

Дверь Валька, когда уходил, подпирал лишь батожком: воровать в хибаре было нечего, да и друзья-приятели просили не вешать замок – мало ли кому с подружкой забежать приспичит. Потому, возвращаясь однажды с гулянки и заметив приоткрытую дверь, Валька постеснялся сразу вломиться, прошел осторожно в комнату, выразительно прокашлялся и врубил свет. На диване за заборкой кто-то спал, укрытый серым потасканным пальтецом: из-под ворота выбивались космы крашенных каштановых волос. Сатюков заметил на столе листок бумаги с крупными, вкривь и вкось нацарапанными карандашом буквами: «Извините, что сплю здесь. Больше нигде». Он на цыпочках подкрался к дивану и отвернул ворот пальто. Женщина проснулась и, вскинув руки, прижала к себе обалдевшего Вальку.

– Ка-а-а-а! – только и прошептал он.

От Катьки пахло и дешевыми духами, и винцом, и еще чем-то таким, отчего Валькина голова безнадежно закружилась.

Умаявшийся, он лежал под утро, прижимаясь к голой, пышущей жаром, словно от печки, Катькиной спине, и верил и не верил. Про ту баньку памятную и купание в реке возле монастырских развалин Сатюков не раз хвастал ребятам в армии; те гоготали, принимая это за небылицу, и самому Вальке уж вспоминалось то вскоре как сон, жутковатый и сладкий... Катька повернулась и опять обняла крепко Вальку. Не сон, значит, привиделся!

– Долгие проводы – лишние слезы! – подернутая от холода в избушке гусиной кожей, Катька одевалась быстро под немигающим Валькиным взором. – Скажи спасибо подружке Томке. Убрела куда-то шалава

шляться, а мне хоть на крыльце ночуй. Накануне про тебя, твой домик рассказывала, адресочек-то и проронила. Приехать снова в субботу, маленький? – Катька подошла, легонько щелкнула Вальку по носу.

Тот хотел соскочить с дивана и обнять ее, но застеснялся, поджимая ноги под куртку.

Из жития преподобного Григория

На тезоименитство игумена Григория приехал в монастырь сам князь Юрий со многой дворней и боярами. После благодарственного молебна в главном монастырском храме – народу не протолкнуться – стоявшего в царских воротах с крестом в руке именованника поздравляли. От братии глаголил слово келарь Паисий. Огромный живот его обтягивал, треща, подрясник, раскосые глаза хитрющие: попробуй разбери, что в них таится.

– Ты, брате Григорие, в своем благочестивом житии яко свешник над нами, многогрешными, воссиял. Все мы сырые чуем это благоприятное тепло, от тебя исходящее. Так дозвожь нам, убогим, в нем погреться, – келарь плел и плел витиеватые словеса, как паук тенета. Сам он был далеко не равноангельского поведения: и бражничать любил, чревоугодничать, среди братии склоки затевать охотник, и наушничать князю и духовному начальству горазд. Собирался ему игумен дать окорот. И из боязни, от зависти, а не от сердца, старался Паисий. Зыркнул напоследок – со свету бы сжил, а заключил елейно, тотчас замаслив глазки:

– Ведомо, кому много дадено, с того и много спросится...

Подошел ко кресту и пожелал доброго здравия князь Юрий с подросшим крестником Григориевым Димитрием, потянулись чередой ближние и дальние лопотовские родичи – как же, лестно! Вскоре от здравия звенело у игумена в ушах, ворох поздних осенних цветов занимал в алтаре целый угол, иные из груды сложенных тут же подарков сияли золотом и камнями. Отпрянул от всей этой канители Григорий опять-таки только в келье за вечерней молитвой. Вспомнилось, как был просто послушником...

Для изнеженного боярского дитяти все было поначалу в тягость – недаром архимандрит и не хотел его принимать в обитель. Но стерпелось, а где и слюбилось с упованием на Господа. Незнающему да неразумющему монашеская жизнь блазнится сытой и безмятежной. Григорий же не помнил, уж сколько дров переколол, воды перетаскал, пахал и сеял, и сенокосничал. А после трудов земных, суетных вставал с братией на труд духовный – молитву. И здесь, устремляясь душою и сердцем к Богу, забывал об усталости, скорбях телесных. Выдавалось времечко свободное – влекли послушника рукописные книги из монастырского древлехранилища. Приняв монашеский постриг, Григорий с остриженными упавшими волосами навсегда отрекся от мира: инок – значит, иной...

Отходящий на суд Божий архимандрит напутствовал его, прерывистый голос старца был едва слышен:

– Не ошибся я в тебе... Помни и бегай от трех зол: злата, почести и славы. Храни тя Господь!

Григорий, плачущий, приложился устами к холодеющей руке.

В новые настоятели монастыря рвался Паисий, но братия мудро рассудила: выбрали самого кроткого и смиренного. И князь Юрий, наслышанный о молитвенности Григория, уме незаурядном, заложил перед правящим архиереем нужное словцо... Не хотел, не желал этого Григорий – ни суетности служебной, ни высоких почестей, ни навязчивой ласки родни, а единения с Богом, суровой постнической жизни жаждала его душа. Невозможно смотреть одним оком на землю, а иным на небо!

«Помоги, Господи! Вразуми раба твоего!..» – молился он денно и ночью.

Глава 4. Юродивые и Зерцалов

Те же советские годы

Со своим «спасителем» Сашкой Бешеном Валька встретился вскоре опять. Бежал мимо дорофеевского дома и – глядь! – Ваня Дурило на крыльце стоит и не просто на настиле или на ступеньках, а залез на столбик, к которому когда-то крепились перильца, и, выстаивая на одной ноге, размахивая руками, кричит залиvisto петухом. Разевшего рот Вальку едва не сшиб с ног выскочивший из ворот рассерженный участковый.

– С дураков какой спрос! – пробурчал он, окинув парня неприязненным и в то же время смущенным взглядом.

А с крыльца неслось:

– Ки-ка-ре-ку! Ура, дурдом! Кругом – дурдом! Вся жизнь – дурдом! Ки-ка-ре-ку!

Выглянул из-за калитки Бешен, заметив Сатюкова, поманил его пальцем. Валька, сторожко косясь на по-прежнему торчащего на одной ноге на столбике оборванца, поднялся вслед за Сашкой по скри-

пучим ступенькам крыльца. В горнице на непокрытом столе стояла кой-какая посуда, была разложена немудреная закуска. На табуретке сидел зачуханный смердящий старикашка Веня Свисточек и, вздергивая по-птичьи головушкой с реденькими белыми волосиками, поглядывал на вошедших невинными, на удивление чистыми глазами. Позади Вальки и хозяина с криком захлопнул дверь соскочивший со своего насеста придурочный Ваня.

Сатюков, присев на краешек лавки, чувствовал себя неуютно и неловко. Свисточек, все так же невинной выцветшей лазурью глаз пялясь на него, натренированным до автоматизма движением выкинул перед собой ладонку и, расщеперив корявые грязные пальцы, затряс ею перед Валькиным носом: «Гони копеечку!» Валька и тут чуть было не полез в карман за мелочью, как тогда, еще до армии, в Ильин день – храмов праздник, когда пошли с Сережкой поглазеть на крестный ход.

Опасно: в школе как бы не влетело, но зато спокойно – среди бела дня, не в пасхальную ночь, когда через ментовское оцепление прорываться надо. Проникнуть внутрь храма братаны не решились, остались дожидаться действия, поджидаясь к кирпичам церковной ограды. От скучающих на паперти нищих отделился босой, заросший свалывшимся волосом мужик, сильно прихрамывая, приблизился к ребятам и, закатив дурашливо глаза, двумя сложенными пальцами принялся молотить себя по губам.

– Дядя, да-дай ку-ку...

Ваньку Дурило ребята знали – известная в городке личность, но уstraшенные его идиотским видом, отошли от дурака на всякий случай подальше и в узком проеме калитки столкнулись с другим убогим, вернее, чуть не затоптали его, сидящего меж положенных поперек дорожки костылей. Белобрысенький, он завохтал, захрюкал потревоженно, а когда протянутую ладонку ему не позолотили, сердито засопел, вытолкнул сквозь зубы довольно внятно крепкое словцо. Вздохнул ударил колокол. Из церковных врат потекла толпа богомольцев, качнулись, заблестали над нею крест, хоругви.

– Гляди! Поп!

Парни повисли на ограде, цепляясь руками за железные пики ее наверхия. Крестный ход с пением двинулся вокруг храма, и Валька с Сережкой намерились перебежать на другую сторону, чтобы поглазеть, как богомольцы будут возвращаться. И столкнулись за угловой башенкой ограды опять с убогими. Те поначалу ребят не заметили.

– Скупой народ пошел! – сетовал Дурило белобрысенькому вполне нормальным голосом. – Закурить даже никто не дал.

– Угощайся! – белобрысый, подойдя к нему от прислоненных аккуратно к ограде костылей, протянул пачку сигарет. Закурили.

– Как нынче посбиралось-то?

Белобрысый молча хлопнул ладонью по оттопыренному карману; глаза убогого светились радостно и довольно.

– Есть в тебе чтой-то от настоящего дурака, вот и подают хорошо, – позавидовал Ваня. – А мне мало, как ни стараюсь. Хоть и Дурилом прозвали.

– Так ты дурило и есть.

Тут нищие заметили подглядывающих за ними парней.

– Че вылупились-то? Хи-хи! – Ваня вдруг закатил глаза и, расставив широко руки, будто собрался ловить, пошел, приплясывая, на струхнувших ребят.

Белобрысый, достав милицейский свисток, залился трелью, захохотал и, подхватив костыли, заподпрыгивал на них прочь...

И вот не думал, не гадал Валька, что придется ему сидеть в гостях у Сашки Бешена между двумя столь досточтимыми людьми. До первой стопочки и кашлянуть побаивался. Выпил – осмелел. У убогих в башках скоро «зашаяло»: что-то быстро-быстро, но непонятно залопотал сам с собою Веня Свисточек, а Дурило заблажил. Заорал про «златые» горы.

– Я – философ! – резко оборвав завывания, заявил он. – Божеских наук. Втолковываю темным людишкам у церкви, что да как, лишь бы деньгу давали. Хоть и четыре класса у меня, – расхвастался вконец.

– Веня, ты у нас тогда профессор с одним-то классом! – весело крикнул Бешен.

– Читать умею, – подтвердил Свисточек и опрокинул стакашек.

– Выходит, я академик, с двумя-то высшими!

Проскрипела незапертая дверь, и вошла маленькая, закутанная в черный платок старушка; блеснули стеклышки очков на носу.

– Опять пируете? – перекрестившись на киот с иконами в переднем углу, строго спросила она. – Санко, сколько же тебе говорить, чтоб не путался с этими шаромыжниками! Ты – человек ученой! Да и вы-то че пристали к мужику? Эко, ровно поросята, в Троицы-то день!

Веня в ответ зычно икнул, невинные глазки его замутились, и он кулем рухнул под стол. Ваня закудахтал было, но старушка оборвала его:

- Полно, дураково поле!.. Выпроводил бы ты их, Санушко, пока мамкино добро с ними не спустил!
- Не могу, Анна Семеновна! Они мои братья во Христе!

Старушка вздохнула, дескать, что с тебя, простяги, взять, и тут же ойкнула, приложив ладошку к губам:

- Забыла... Василия Ефимовича проводывал? Нет? Эх, ты...
- Сейчас же, немедленно! – засобирился Сашка. – Кто еще со мной?

Дурило сонно зевнул и со стуком уронил голову на стол.

- Запрем их. Пусть дрыхнут...

На улице смеркалось. Двухэтажный темный дом с чуть заметными бликами света из-под занавеси в окне верхнего этажа оказался Вальке по пути. Сатюков побрел бы и дальше своей дорогой, но Бешен придержал его:

- Зайдем!
- Расскажешь потом, Санко, как он там! Мне-то на скандал не след нарываться, – старушка попрощалась и ушла.

Сашка стучался долго; наконец где-то вверху скрипнула дверь, дребезжащий старческий голос спросил: «Кто там?» Бешен назвался. Зашлепали по лестнице шаги, при свете керосиновой лампы открывший дверь старик выглядел пугающе: трясущаяся плешивая голова, на усохшем личике густели тени. Сашка помог хозяину, поддерживая под локоть, подняться обратно в лестницу, и в светлой уютной комнатке Валька по-настоящему разглядел его. Сатюков думал, что давным-давно старикан этот помер. Ведь Валька еще совсем сопливым пацаном был, когда на городковской танцплощадке, не «оснащенной» еще ни гитарным бряком, ни заполошным барабанным воем, ни вытьем и ором местных дарований, простецкая советская радиолка исправно в субботние и воскресные вечера раскручивала свой диск – и любую пластиночку ставили на утеху публике.

А что за публика собиралась! В меньшинстве – на площадке, в большинстве – около. За высоким, обтянутым металлической сеткой барьером, будто в скотском загоне, на дощатом помосте в одном углу толклись парнишки-малолетки, в другом – их ровесницы. Было рановато – и радиолу в крашеной будке запускали время от времени. Мальчишки и девчонки суетливо дергались, толкая локтями друг дружку. Молодежь повзрослей, посолидней подходила в сумерки. Тут и репродуктор, подвешенный на дереве, верещал не умолкая, и пол ходил ходуном под ногами резвящихся, грозясь обломиться. Стволы столетних лип с корою, изрезанной ножичками и прочей колющей штуковиной, обступавших танцплощадку, подпирали могучими плечами подвыпившие застарелые холостяки; меж ними, яростно отбиваясь от комарья, выглядывали своих чадушек, скачущих за барьером, мамыши. У их подолов путался зеленый ребячий подрост, норовя в удобный момент перешмыгнуть через сетку. В потемках в глубине парка вспыхивали потасовки, кто-то кого-то с улюлюканьем гонял, кто-то ревел ушибленным телком. Люд же, самый разношерстный, прибывал и прибывал, словно осы гнездо облепляя барьер танцплощадки...

После современной легкой музычки из раскаленного колпака репродуктора плавноплыли звуки старинного вальса. Распаренная толпа уморившихся танцоров, отпихиваясь, сваливала к лавочкам посидеть, если хватало места, а в освободившийся круг неторопливо входил невысокий плотный старичок. Полувоенный френч ловко обтягивал его сутуловатую фигуру, на ногах поблескивали скрипучие хромачи. Аккуратный пробор седых волос, подкрученные вверх усы. Старик выбирал «даму», слегка склоняясь к ней, приглашал на танец. Девка млела, не смея отказать, и осрамиться побаивалась, но наконец соглашалась. Кавалер легко вел ее, откинув немного назад красивую голову, лихо кружил, и самая неумелая деваха входила с ним в раж, забывала про свои «ходули» – на удивление, ступали они как надо, и вертелось, плыло все у девчонки перед глазами – хорошо-то как! Старик, словно двадцатилетний, падал на одно колено и стремительно, под восхищенное аханье зевак, обводил даму вокруг себя. Набегали другие пары, в основном девчонки, суматошно кружились кто как умел, а над парком затихали последние аккорды «Дунайских волн»...

Нет, старичок Зерцалов был теперь не такой шустрый и бойкий. С бескровным лицом с коричневыми пятнами на лбу и на щеках, с заплывающими в мутной мокроте беспомощно глядевшими глазами, но по-

прежнему в наброшенном на плечи френче, он шаркал в тапках по горнице. При слабом свете настольной лампы в простенках между окнами, закрытыми шторами, виднелись какие-то картины в массивных, украшенных резьбой рамах, передний угол занимал огромный рояль; с другой стороны во всю стену чернел громоздкий буфет с затейливыми фигурками и узорами. Старик прошлепал к письменному столу с чернильным прибором, в который были вмонтированы остановившиеся часы с трубящими в рога статуэтками охотников, сел на стул с высокой, из витых деревянных прутьев спинкой. В горнице-музее Зерцалов сам был наподобие экспоната, разве что живого.

– С Троицей вас, Василий Ефимович! – громко проговорил, чуть ли не прокричал Сашка и вперился куда-то в угол. – Вот незадача! Лампадка-то не горит!

Он вскочил на стул, чиркнул спичку и запалил огонек, высветивший святой лик на иконе. Валька грешным делом подумал, что хозяин сейчас заругается: мало кому чужое самоуправство, вдобавок с прыжками и скачками, понравилось бы, но Зерцалов, подшлепав к Бешену и взяв его за руку, поблагодарил:

– Спаси Бог... Сижу, ровно нехристь.

Сашка, перекрестившись, вдруг запел сильным чистым голосом:

– Благословен еси Христе Боже наш,

Иже премудрые ловцы явлей, ниспослав им Духа Святаго,

И теми уловлей вселенную,

Человеколюбче, слава Тебе!

Старик, тоже глядя на икону, подтянул хрипло, еле слышно тропарь. Мало что понимающий Валька вздрогнул, когда где-то сбоку отворилась дверь. В проеме ее стояла, опираясь на костыль, старуха. Сатюков узнал ее тотчас по крючковатому носу и близко сведенным к нему маленьким злобным глазкам – билетами бабуля торговала на той танцплощадке и частенько, высунувшись из окошка кассы, напару с контролером орала благим матом на парнишек, норовящих прошмыгнуть мимо. И тут завопила:

– Распелись-то, разорались, как ангоголики! Спать мешаете! Опять этого дурака пустил! Сколько раз говорила. Уходите-е!.. – свирепо застучала она костылем.

– Маруся, пойми! Александр с юношей просто навестить зашли, с праздником поздравить, – попытался несмело возразить старик, да куда там.

– У них в церкви каждый день праздник! – понесло старуху. – Только и ладят, чтоб своровать и пропить.

Сашка с Валькой попятнулись к выходу, Зерцалов замыкал своими шаткими шажками отступление.

– Вы уж извините ее, она нервная, больная, – он, прощаясь, слабо пожимал гостям руки. – Александр, пока лето, отвезите меня в Лопотово, в монастырь... Покорнейше прошу! Перед смертью побывать бы там еще разок!

– Сделаем, сделаем! – кивал Сашка.

Уходили, оглядываясь. Фигурка старика с керосиновой лампой в руке долго еще, провожая, жалась в дверях на крыльце.

Из жития преподобного Григория

Перед Рождеством по санному пути тронулся обоз с кое-каким купецким товаром в Ростов Великий. С ним пустился в путь и игумен Григорий, собираясь поклониться ростовским святыням, прихватив с собой парнишку-келейника. Бодрой рысцой бежали лошади, на взъемах переходили на неторопливый шаг, втаскивая возы, зато под горку полозья саней только весело выскрипывали в разъезженных колеях. Гнали веселые артельщики с товаром и не чаяли, что поджидала их курносая с косой на плече. На перепутье дорог уже недалеко от города загнала пурга заночевать на постоялом дворе. Теснота, спать завалились вповалку. Григория среди ночи кто-то тронул за плечо.

– Баба, энто, за печью помирает... Спроводил бы.

Игумен, разбудив келейника и переступая через тела спящих на полу людей, добрался до задвинутой в запечек лавки. Зажженный пук лучины высветил кучу тряпья; из него проглядывало лицо, непонятно – молодое или старое, тени от огня пугающе трепетали на нем.

Григорий положил ладонь на холодный, в липкой испарине, лоб женщины. Опять кто-то шепнул в ухо:

– Кончилась... Упокой, Господи, душу рабы твоя...

Игумен провел ладонью по ее лицу, закрывая выпученные глаза. Лучина пыхнула ярче, и Григорию показалось, что изведенное судорогой, застывшее лицо оскалилось в зловещей ухмылке. Келейник рядом гнусаво забубнил Псалтырь...

В Ростове обозников свалил мор. На телах, на лицах больных вспучивались нарывы и лопались, превращаясь в страшные гнойные язвы. Двух чернецов, брошенных в сняхх посреди улочки полувымершего города, подобрала чья-то добрая душа. Мечущихся в горячечном бреде привезла в опустевший ближний монастырь, где уцелевшие иноки снесли их в общую отгороженную келью для умирающих. Затихло вскоре все там: ни стоны, ни вздыхания...

В келье той уже порешили не топить печь, боялись приблизиться – мор, говорили, в городе пошел на убыль, живым остаться можно. Со страхом взирали на занесенную снегом крышу последние насельники монастырские. Дверь неожиданно отворилась, и, пошатываясь, держась за нее, выбрел высокий изможденный чужак чернец, захлебнулся морозным воздухом и, сделав несколько неверных шагов, упал на колени в снег. Воздев руки, захрипел надсадно:

– Братие, помогите! Живой я, замерзаю...

Глава 5. Катерина

Две девчонки, поблескивая ляжками, едва-едва прикрытыми юбочками, излишне взбудренно вышагивали прямо по середине шоссе. Тяжелый военный грузовик, обгоняя, потопил их в облаке сизой вонючей гари и пронзительно засигналил, солдаты, сидящие в кузове, загоготали. Семнадцатилетние соплячки разродились в адрес обидчиков отборным матом, как будто из пивной отродясь не выкуркивали. Мимо кучки людей на остановке автобуса прошли, независимо задрав носики, покручивая задями, обе румянощекие, стройные. Женщины осуждающе поджали губы, примолкшие же мужички шарили по фигуркам девчонок, свернувших на дорогу, ведущую к воинской части, жадными взглядами.

«Мокрощелки!» – в сердцах вздохнула Катька, вроде и осуждая их, и завидуя тоже. Верно, ни забутушки, ни тоски. Стаканище водяры да жарко обнимающий под кусточком голодный солдатик, а то и не один... Хотя мало завидного-то, уведет эта дорожка черт те знает куда. Но все же проще: переспала с солдатиком и забыла напрочь про него. Сама в их годы не хуже была. И перед муженьком, глядишь, не оправдывайся, где да с кем ноченьку проваландалась. Вспомнился Катьке муж законный Славик...

Дернул же леший связаться, спутаться накрепко с ним, заводским инженером из райцентра. На целых пятнадцать лет старше. Лысоватый, щуплый, руки ниже коленок болтаются, будто у обезьяны, улыбаются – скалит вставные зубы, точь-в-точь принаравливается тебя слопать; бесцветные глаза навьют под самый морщинистый лоб. Этот уж так опротивел, обрыг за немногие годы совместной жизни! А тогда Катька на инженеришку этого сходу глаз положила...

Опившаяся сладкого деревенского пива на выпускном вечере после школы-восьмилетки, Катька была на сеновале лишена невинности тремя одноклассниками, и стала после того девушке шапочка набочок. Катька, протрезвев, никому и не подумала жалиться, отряхнула смятый подол платья, смахнув сенную труху, добрела до пруда, выкупалась. Трясаясь голышом на предутреннем холодке, всплакнула было, но, закусив губу, надернула платье и побрела к отцу в деревеньку.

Она настырилась пожить в райцентре – нескольких сросшихся рабочих поселках, утопающих в болотистой низине возле Сухоны-реки, и денно и ночью удушаемых клубами фабричного ядовитого чада. Катька помыкалась здесь туда-сюда, в конце концов надоумил ее кто-то приткнуться – ни много ни мало – на курсы шоферов. Устроившись на работу в одну «шарагу», получила Катька дряхлый, сыплющий запчастями «москвиченок». И не вылезать бы ей, чумазой и провонявшей бензином, из-под него, да много нашлось охотников автомобилю ремонтничко любой учинить, так что Катерине о привлекательности своей заботиться не пришлось.

Деятнадцатый годок шел девчонке – цветок. И каждому – будь то сопливый, только что от мамкиной юбки парень или почтенный папаша семейства – желалось отщипнуть от него лепесток. Катька особо не церемонилась, давала, не скупилась. Даже престарелый, еще хуже своего служебного «Москвича», начальник «шараги» Иван Семеныч, бывало, не удерживался, клал сухую, испещренную сиреневыми жилками ладонь на округлое Катькино колено, елозил ею по ноге, щуря блаженно глаза, и Катька понимающе терпела.

Славик прикатил за какими-то бумагами к Ивану Семеновичу на изрядно потрепанной, но собственной «Волге». Что-то не сладилось, пришлось ехать в соседний городок, и провожатой инженеру, хитроумно сославшись на хвори, Иван Семенович отрядил Катьку. По дороге – слово за слово, у Славика нашлась бутылка «Шампанского» с шоколадкой, придорожный лесок красотою попутчикам приглянулся, да и погодка пригожая шептала-нашептывала...

Катька, которой приходилось прежде довольствоваться парой стаканов дешевой «мазуты» или ж на хороший конец – водки, долго не ломалась. Славик оказался в делах блудных не промах, с грубой

угловатой шоферней, норовящей сграбастать в железную хватку в свое лишь удовольствие, близко не поставишь. И Катерина вцепилась в него жадно, до одури... Они встречались почти каждый вечер, укачивали на машине куда-нибудь в глухомань, подальше от глаз знакомых, и жарко любились ночи напролет. Славик изоврался весь жене и двум пацанам насчет «командировок», но синие мешки под глазами и иссохшее тело, колеблемое ветерком, мертвецки непробудный сон в редкие ночевки дома выдавали мужика. Супруга с ним развелась. Славик, видимо, особо не огорчаясь, затеял шумную пьяную свадьбу с Каткой. Гордо задирая нос, довольнешенек, косился он на юную невесту с изрядно выпячивающим под подвенечным платьем животом.

Славиковой родни, презревшей его за такой поступок, на свадьбе почти не было, собралась многочисленная веселая Каткина родова. Лихо отплясывал отец, сеструхи перешептывались и посмеивались за столом, разглядывали свою старшую с выкурнувшим невесть откуда женишом, мать с грустью вздыхала, не ведая, радоваться ей или печалиться. За последним дело не стало. При дележке имущества с бывшей супружницей свою знаменитую «Волгу» Славика пришлось продать: пополам машину не распилишь, а из квартиры уйти в комнатенку в бараке. Мстительная первая жена накануне развода побегала по всяким комитетам: Славик схлопотал по партийной линии добрую выволочку, и на службе его из главинженеров сходу выперли, как юнца на побегушки поставили.

К дочке в полутьме барачной каморки Славик не торопился питать отцовских чувств, охладел и к Катке, исчезал подолгу неизвестно где и возвращался пьяным и злым на весь свет. Катка пробовала жалеть несчастного муженька, даже не выясняла уж, где его черти порою носили. Но когда Славик, заросший колючей щетиной после очередной «отлучки», сытый вдрабадан, оскалился злобно на старавшуюся стащить с его ног сапоги жену: «Из-за тебя всё, сучка, потерял!» – у нее всякая жалость пропала. «Так ведь тебе, старому хрену, молоденькой захотелось!» – крикнула она. Славик вцепился ей в платье, разодрал его. Катка оттолкнула опротивевшего окончательно мужа, ушла на улицу, долго редела на крыльце под доносившийся в неприкрытую дверь равномерный храп супруга....

Подговорив соседскую бабку поводить с дочкой, она устроилась на завод гонять на каре. Вдохнулось легче. Славик вскоре втяпался в нехорошее дело: с мужиками стянул с завода какие-то детали и пристроил их по сходной цене – на гулянки деньжонки требовались. Еще по дымящимся следам «коммерцию» разнюхало ОБХСС, ушлые Славиковы компаньоны отвертелись как-то, а Каткиному муженьку пришлось сесть на «зону». Катка вновь искренне пожалела его, когда он, стриженный наголо, лопухий до несурзности, исхудалый, при первом свидании жадно вцепился в ее тело. Но потом – то ли ему показались подозрительными чересчур излишние ласки жены, то ли насытившись, просто из «профилактики», – Славик больно крутанул сосок на Каткиной груди и взвизгнувшей супружнице закатил пощечину. «Шлюха! Сука!» Катка бы легко, как перышко, могла сбросить его с себя, но лежала беспомощная, раздавленная...

После той ночки в комнатухе с зарешеченным окном пошла она по рукам. Увлекалась не только холостяжником, отбивала и мужей от законных жен. Мужички, и писанные красавцы и плохонькие, лядашие, убийственно летели к пышногрудой улыбчивой Катюхе мотыльками на огонь и, недолго потрепыхавшись, с подпаленными крылышками уползали виниться перед своими полоротыми половинами. Катка, выжав и выпив до капельки очередного «хахила», расставалась с ним через недельку-другую без особых сожалений, благо уже начинала погуливать с другим, а кто-нибудь третий топтался на «подхвате». От нее не убудет. Так стали утверждать злые языки. И в родимом ли городке появлялась Катка или шагала по улицам задымленного грязного райцентра – недобро косились и шипели на нее бабы и жадными глазами провожали ее фигуру мужики, крикая, скобля в затылках. Кое-кто, побойчей и понахрапистей, позабыв про жену и детушек, бесстыже лип к Катке, сыпал шуточками-прибауточками, норовил шлепнуть ее по ядру задю. Однако с некоторой поры руки распускать стали побаиваться...

Катка не смогла простить Славика того унижения на тюремной «свиданке», больше не навевдалась, хотя и посылал он ей жалостливые, зовущие письма. Срок у него был небольшой – для него долог, а для Катки это время промелькнуло почти незаметно. Вторую дочку прижила, и кто отец, затруднилась бы ответить. День настал, которого она страшилась и желала, чтоб оттянулся он как можно дольше. Возвнулся Славик. Катка, разузнав, что освободившегося муженька видели подходившим к дому, а потом еще и в пивнухе, завалившись к подруге, напилась в стельку и только уж после заявилась домой, разве что не валяясь и с размазанной по всему лицу «штукатуркой». Она смутно помнила, что говорил, кричал Славик, провалилась вскоре в бездонную черную яму и очнулась от боли, лежа ничком на полу, полуголая, со связанными за спиной руками. Муж расхаживал около, подпинывал ее под бока носками сапог.

– Очухалась, сука?!

Славик со злобным смешком всадил от души Катьке пинок, что она взорала, и крихтя – откуда у слабака и силы взялись! – рывком перевернул ее на спину.

– Раскорячилась, шалава! – он сел на табуретку напротив пытавшейся подняться с пола жены и бесполезно сучившей ногами, издевательски захохотал, с презрением разглядывая Катьку, смачно харкнул на нее. – Наслушался я про тебя в пивнухе. Что с тобой, стерва, и сделать? Прикончу...

Катька, перестав двигаться, обреченно растянулась на полу, отвернув от Славика в сторону лицо, и прикрыла глаза. Будь что будет... Славик вдруг спрыгнул с табуретки, бухнулся на колени и подполз к Катьке, сипя что-то жалостливое, мокрыми противными губами ткнулся в грудь.

– Пошутил я, Катя! На «понта» хотел тебя взять, поучить маленько. На «зоне» о тебе только и думал.

– Руки развяжи!

– Сейчас! – Славик проворно распутал жене руки.

Катька, брезгливо отстранившись от него, встала, прислонилась плечом к теплой печной кладке, принялась разминать затекшие кисти рук.

– Лучше бы ты не возвращался....

– Я?! – тонко взвизгнул Славик. – Гулять понравилось? Я тя порешу-у!

– Трус! Только с пьяными бабами и воевать! Бей!

Славик, ретиво заверещав, схватил маленький топорик для щипания лучины, но Катька – откуда и силы взялись, может, когда увидела на мгновение лица дочерей – опередила мужа, шлепнула его по лысому темечку увесистым березовым поленом. Мужичок по-заячьи вякнул и, выронив топор, затих на полу. Катька в задумчивости подержала в руках изодранное в лохмотья платье, бросила его на тело Славика, накинула на себя кухонный халатик и пошла заявлять в милицию – человека убила. Думала – посадят, а присудили год «принудки».

...Подъехал долгожданный автобус, пассажиры, толкая друг друга, устремились в салон поскорее занять места. Катька пропустила всех вперед и еще стояла какое-то время, колебалась: ехать – не ехать. Но, представив красивого юного мальчика, ждущего ее в городке, усмехнулась, взбираясь в автобус: «Ничего, Екатерина Константиновна, не все, видать, еще от жизни ты взяла!»

Из жития преподобного Григория

Как злой недуг может изломать, изуродовать человека! К выползшему из мертвецкой кельи и распростершемуся беспомощно на снег пришлецу боялись приблизиться оставшиеся в живых иноки, крестились, шептали молитвы, воздев руки к небу. И все ж утащили, хоть и опасно, незнакомца в тепло; страхась вида его, отпоили и откормили с ложечки.

Настал день, когда Григорий сам смог подняться со своего соломенного одра. Взяв бадейку, он побрел по воду к роднику возле монастырской стены и в натекшем озерке, прежде чем зачерпнуть воды, увидел свое отражение и с ужасом отшатнулся. Снизу глянул на него некто со страшными рубцами язв на лице, с провалившимися глазами, заострившимся носом. И опять слабость расхватила тело: Григорий, выронив бадью, чуть ли не ползком добрался до кельи. Молчальник, – братия подумывала, что все ли у него после болезни с речью ладно, – он вовсе замкнулся, и кое-кто из иноков решил, что и разумом повредился. Но Григорий, что бы ни делал, пребывал постоянно в молитве. Хворь смогла исковеркать плоть, но дух в высохшем, как кость, постаревшем, поседевшем по поры чернеце ей победить не удалось.

Как-то под осень в монастыре попросил приюта небольшой отряд ратников. По измученному виду их, усталым коням можно было догадаться, что проделали они дорогу дальнюю и мчались, как от погони. Так и оказалось. С конниками был возок, из которого бережно вынесли раненого боярина с проступившей кровью на наспех намотанных повязках.

– Костоправ есть средь вас? – спросили у монахов.

Старенький иннок Арсений, утвердительно потрянув седой бородой, потянул за рукав подрясника Григория – подможешь! Врачевал старец раны, шепча молитвы, легкою рукою. Боярин был без памяти, стоял, бредил, а к вечеру отпоенный зельем на травах, пришел в себя, заозирался тревожно, видя подле себя людей в черных одеждах, но, заметив спокойное лицо старшего ратника, утих.

– Люди мы князя московского Василя Васильевича, – через силу, хрипя, заговорил он. – Князь Юрий Галичский Москву взял, себя заместо племянника своего – законного нашего государя вознамерился поставить. Василий наш юн да неумел, в боярах измена открылась. Сеча!.. А опосле из наших кто как ноги уносил. Мы вот от погони насилу отбились...

Григорий почувствовал, как зазудел, а потом и заболел старый шрам на плече от своей – русской! – стрелы; представилось, будто наяву: русичи же русичей рубят яростно на лесном волоку, а поодаль усмеваются татары...

– Я пойду к Юрию! Усовещу! – громко вырвалось у Григория.

Монахи испуганно и удивленно, впервые слыша его звучный голос, оглянулись – пришлец прежде одними знаками изъяснялся, как немтырь. Боярин тоже глянул на него с сожалением, словно на умалишенного:

– Станет ли тебя, сирого мниха, князь слушать? Башку долой – и делов!..

Глава 6. Рикошет

20-е годы 20-го века

Место для расстрела выбрали на берегу реки в густом ельнике у древнего каменного креста. Сюда, как царь отрекся от престола, опасались заходить богомольцы – всякая нечисть и нежить, расплодившись, кружила-путала людей среди бела дня, широкую натоптанную тропу завалило ветроломом, лес надвинулся на нее, плотно сжимая, топорща над нею колючие еловые лапки. Они нещадно секли по лицам приговоренных, бредших со связанными за спиной руками.

Их было четверо. Два босых парня-дезертира, загорелые, схожие меж собой, с ежиками остриженных соломенных волос, испуганно поглядывали по сторонам, как будто на что-то еще надеясь, сжимали и разжимали толстые корявые пальцы скрученных веревкой рук, пытаясь освободиться. Молодой монашек с бескровным восковым лицом, потупя взор и шепча молитвы, поотстал от парней, и кто-то из безусых красноармейцев грубо подтолкнул его прикладом винтовки в спину: «Переставляй ходули, поповское отродье!» Монах посмотрел на служивого чистыми, отрешенными от мира глазами, и тот отвел взгляд, воровато заозирался, бурча: «Чего пялишься-то, иди...»

Четвертый, военной выправки старик с седыми бакенбардами и вислыми усами, в залатанном крестьянском армяке явно с чужого плеча, мотавшемся на поджаром теле колоколом, брел последним и часто оглядывался, обреченно ожидая, что вот-вот... Сразу за источенным временем крестом, раздвигая ельник, тянулась ложбина, густо заросшая багулой; где-то на дне ее вызванивал целебный родничок. Тут же, в траве возле свежерытой ямы сидели и курили красноармейцы. Они повскакали, невпопад отдавая честь председателю ревтрибунала и командиру отряда.

Приговоренных поставили в ряд, лицами к кресту. Председатель ревтрибунала Яков Фраеров, нескладный, в долгополой шинели, поблескивая стеклышками пенсне, близоруко вперился в листок бумаги: «За самовольное оставление части... – голос его скыркал отрывисто, как у дятла-желны. – За ведение пропаганды против Советов среди населения приговариваются к высшей мере...»

До Зерцалова смысл дальнейших слов комиссара дошел не сразу:

– Что вам говорю? Оглохли? Командуйте, товарищ начальник!

Фраеров пристально, с нескрываемой ехидцей, ожидающе уставился на Василия.

– Отделение в шеренгу становись! – негромко скомандовал Зерцалов.

– Готовсь! – Василий, косясь на Фраерова, выжидающе пощипывавшего тонкими длинными пальцами реденькую козлиную бороденку, вытянул из ножен шашку.

– Пли! – то ли сказал, то ли лишь взмахнул ею.

Линия винтовочных стволов качнулась, выплюнув огонь. В последний миг монах повернулся и, воздетой дланью благословляя убийц, пронзил Василия взглядом небесно-голубых глаз... Зерцалов свалился как подкошенный – пуля, отрикошетив от поверхности каменного креста, угодила ему в голову. Сквозь сгущающийся кровавый туман Василию почудилось, что слышит слова Фраерова: «Отказался – и его б туда, к ним!»

– Уж лучше бы... – успел прошептать он, прежде чем провалиться во тьму...

У Василия Зерцалова, бывшего юнкера, так и не успевшего надеть офицерские погоны, последнее время жизнь состояла из цепи случайностей. Из старой столицы, уцелев в бою в Кремле, вместе с несколькими такими же растерянными и перепуганными мальчишками-земляками он сбежал, забившись в попутный состав, в Вологду к дядюшке под крыло. Старик встретил его в своем обветшавшем, но уютном доме на Большой Архангельской, обнял прильнувшего племянника, глядя по плечам. Прослезились оба. Не говоря ни слова, дядюшка, смахнув ладонью мокроту с обвисших седых усов, повел Василия наверх чаевничать. Прислуга, верно, разбежалась: в пустом доме дядя обретался один. Но он, застарелый холостяк и бывший драгун, похоже, не предавался унынию, захопотал, ставя самовар. Василий разглядывал

дядю: в обычном бесшабашно-добродушном выражении лица его появилась заметная озабоченность, ожидание. Зерцалов-младший, добираясь до дому, замечал такое в глазах многих.

– Что притих-то, рассказывай! – излишне бодро воскликнул дядюшка.

Василий в ответ пожал плечами.

– Да-с! А у нас пока тихо.

И еще большая озабоченность померещилась племяннику в быстром взгляде из-под насупленных мохнатых дядюшкиных бровей.

Эх, дядя! Кабы не ты.... Рано померли тятенька с маминькой, и он старшую сестрицу Натали в институт благородных девиц устроил и потом замуж за хорошего человека выдал, а Васенька под его приглядом из хлипкого болезненного мальчугана вымахал в крепкого малого – в юнкерское училище его дядя определил: семейное дело, брат!

– А где Натали?

– За границу с мужем уехали. Пока не вернулись... Дай бы, Господи, чтоб все поскорее утихомирилось!..

Нет, видно, дядюшкины слова были не Богу в уши – подошло времечко, потревожили новые власти и старого и малого. Люди в гражданском, с красными повязками на рукавах подняли Зерцаловых грубым стуком и увели среди ночи. В загородке возле «казенной палаты» топталось с полсотни разного возраста человек, бывших военных. Провели внутрь здания нескольких женщин. Замерзшие нахмуренные арестанты встречали серый рассвет. Наконец погнали всех в низкие ворота полуподвала.

– Зерцалов Васька! – окликнул кто-то из кольца охраны, смуглый, кучерявый, в кожаной куртке. – Не узнаешь?

Яшка Фраеров! Сын управляющего соседним имением Зубовских. Неведомо откуда привез тогда хозяин Платон Юльевич нового управляющего, черноволосенького, шустрого, как тараканище, то ли молдаванина, то ли цыгана. С ним и отпрыск прибыл – нескладной, худой, в очках. Подружились с ним, когда с дядюшкой приехали в гости к Зубовским в имение. У девчонок Натали и хозяйской Маруськи свои дела-делишки, а Ваську потянуло на деревенские задворки. Там и услышал он шум и крики: трое пацанов почем зря тузили четвертого. Обидчики, по одежке видать, крестьянские или дворовые, а супротивник их одет почище, по-барчуковски. «Трое на одного!» – вскипело васькино сердечко, он ринулся в бой... С расквашенными носами обидчики отступили, но и Ваське, и тому, ходуле нескладному, досталось хорошо. Отерев разорванным рукавом с лица кровь вперемешку с грязью, он протянул Ваське руку: «Спасибо! Век не забуду». Видались с Яшкой и после мимоходом; потом он пропал. Слышал Василий, что якобы устроил его Платон Юльевич в университет, а там Яшка в революционный кружок затесался, а потом вроде и в тюрьму загремел. Под стать бате, у которого за лихоимство дело до суда дошло, пока барин по заграницам путешествовал и, нежданно-негаданно вернувшись, отчета спросил. А теперь Яшка, все такой же нескладный и худой, поскрипывая блестящей кожей куртки, стоял напротив:

– Давненько не виделись... Да-а! Но раз повстречались, значит, судьба. Давай-ка отойдем. У меня сразу интерес к тебе заимелся... Я сейчас предревтрибунала и комиссар отряда ЧОН. Мне командир толковый нужен. Пополнение набрали – одни чалдоны, скоро выступать, а они не знают, с какого конца винтовка стреляет. Ты – человек военный.

Яшка перехватил взгляд Василия, провожавший согбенные спины последних исчезающих в темном провале ворот полуподвала арестованных офицеров.

– Этим дядечкам я не доверяю: сколько волка ни корми... Согласен?

Василий, глядя на медленно сходящиеся створки тяжелых, обитых железом ворот и чувствуя гуляющий неприятный холодок между лопатками, кивнул. Спросил только:

– А с ними что будет? С дядей?

– Разберемся. А дядя твой тоже пусть пока у нас погостит, мало ли что учудишь, – Яшкин вороний глаз жестко прищурился.

Сотню мобилизованных парней Зерцалов исправно муштровал, учил владеть оружием, рыть окопы – в училище не только изящные танцы с мадмузелями осваивал – и старался не думать, что скоро отряд, по утверждению Яшки, перебросят на Северный фронт, где придется стрелять в белых (соотечественников!). Господи, отведи!.. И вот пришлось...

Дезертиров брали на монастырском подворье. Один поднял руки сразу, два других пытались бежать. Того, что погрузнее, догнали и сбили с ног, принялись охаживать сапогами по бокам почем зря. Третий, легкий на ногу, пометавшись вдоль ограды, приноровился было заскочить на командирского коня, привязанного у ворот, и тут-то его Яшка, аккуратно и не спеша прицелившись, снял выстрелом из маузера.

– И этих в расход! – кивнул на других.

– Люди, опомнитесь! Что вы творите, тут же святое место! – откуда-то выбежал монах, вздернул черные рукава рясы, как птица крылья, – и тотчас же смяли, обломали их.

– Так-с, святой отец, пособничаешь, укываешь?.. Облазьте-ка все закоулки! – приказал Фраеров красноармейцам.

Те вскоре приволокли упиравшегося старика, по виду – барина, хоть и оброс он, как мужик, и в одежке был крестьянской.

– Никого больше нет! – доложили. – Две бабы еще больные. Тоже сюда?

Яшка отмахнулся, подошел к испуганному старику вплотную.

– Доброго здоровьица, Платон Юльевич! Эх, вы, на старости лет да контрреволюцией заниматься! Сынок ваш – белый офицер, и вы, как вижу, не сидите сложа руки. Окопались тут с монахами, силенки для мятежа копите, людишек подходящих пригреваете. Знаем мы вас!

Фраеров грозил с укоризною пальцем, а Зубовский вглядывался в Яшкино лицо подслеповато:

– Не признаю, кто. Но видел где-то...

– К ним его!

Красноармейцы подхватили старика под локти, подтащили к другим приговоренным.

– Я не враг... Я смуту хотел в монастыре пересидеть. Жена больна, дочь тоже, куда идти... – скороговоркой бормотал он.

В нем, скрюченно-обреченном, в самую последнюю минуту узнал Василий бывшего соседского помещика Зубовского...

Спустя десятилетия Василий Ефимович благодарил ту, отрикошетившую от каменного креста пулю, едва не лишившую его жизни. Что было б, случись все иначе? Кем бы он стал? Убийцей, послушным палачом новой власти? Зерцалов, сидя в кресле, щурясь от света настольной лампы, вопрошал вслух невидимого в полутьме комнаты собеседника. Впрочем, ответа так и не дождался; припомнилось что-то, пришло на ум, и старик принялся опять рассказывать. Такое повелось с ним с той поры, как пришлось оставить монастырское Лопотово...

Визит незваных гостей Сашки Бешена и Вальки взволновал старика, напомнил о Лопотове, и Зерцалов рассказывал и рассказывал тому, молчаливому и все понимающему. Все равно чуть слышный шепот никому не докучал: давно спала за стеной жена, и лишь в одряхлевшем нутре старого дома порою что-то скрипело или стонало.

Из жития преподобного Григория

Вокруг московских палат княжеских – подозрительная настороженность: галичане в чужом городе чувствовали себя неуютно. У ворот стража едва не воткнула в грудь Григорию копейные древки: смотрела люто, исподлобья.

– Мне б к князю Юрию Дмитриевичу! – попытался отвести рукою древко Григорий.

Стражники забрехали вразнойбой, ровно псы цепные:

– Ты кто такой? Тать московский, можа?

– Начепил рясу-то!

– Нужон ты князю!

– Проходи мимо, не застуй! А то...

– Чего раскудахтались? – седобородый, со шрамом через все лицо ратник выглянул из-за створки ворот.

– Да вот...

Какое-то время ратник, насупив брови, разглядывал монаха, потом вдруг испуганно отшатнулся, осеняя себя мелкими крестиками.

– Свят, свят, свят! Это уж не ты ли, батюшка Григорий?

Он снял шлем и, отдав его кому-то из стражников, склонился под благословение.

– Мы уж похоронили тебя, отче...

Князь Юрий пребывал в послеобеденной дреме: ночами, в ставшем еще с малолетства чужим городе не спалось, а днем в сон клонило. На осторожно вошедшего сотского, приоткрыв один глаз, взглянул с неудовольствием, прикрикнуть хотел, но, заметив за ним человека в черном, заворочался тяжело на лежанке, привставая. Постарел сильно князь, огруз, щурился.

– Знакомое обличье вроде...

– Игумен Григорий Лопотов я, кум твой. Не вели казнить, княже, вели слово молвить.

– Погодь, погодь, да ты воскрес! А ведь мор, баяли, тебя одолел?

Юрий, поднявшись, подошел к монаху, хотел было обнять его на радостях, но отвел глаза.

– Еще и ты вот, честный отче, воскрес... Неспроста все это, думаю, ой неспроста! Знамение, не иначе!

Князь перекрестился на святые лики в огромном позолоченном киоте в красном углу. Григорий встрепенулся, готовясь сказать слово, но князь остановил его жестом руки.

– Ведаю, о чем говорить хочешь... Поступил я не по-христиански, знаю. Мечталось по старому, прадедовскому закону великий стол занять: у племянника-то еще сопли не высохли. Почему одному – маета, а другому – счастье? И вот дорвался! И не вроде не рад...

– Сколько крови христианской пролил, грех какой на душу принял! – тихо сказал Григорий. – А не за горами самому ответ перед Всевышним держать.

– Отмолю, отче! – горестно вздохнул князь. – Бояре мои не вякали бы... Хоть уж сыты, поди!

– Вся твердь-то в тебе, княже.

– Да-да, – согласился Юрий. – Но если бы ты не воскрес, отче, сомневался б я с ними до сих пор. Бог тя послал.

В это время в княжескую горницу смело вошел статный красивый юноша в богатых, искусной работы доспехах.

– Димитрий! Крестный это твой игумен Григорий! Чего стоишь столбом, подойди к крестному!

Парень, пристально взглянув чистыми голубыми глазами на Григория, склонил под благословляющую длань густую шапку золотистых кудрей и приложился к руке монаха.

– Проводи, Димитрий, отца игумена отдохнуть, покорми с дороги! – озабоченно хмуря брови, приказал Юрий. – Да кликни сюда бояр и воеводу. Думу думать станем.

– Опять... – вздохнул Шемяка, придерживая Григория за рукав в темном узком переходе. – Совет держать собрался, а меня с молодой дружиной обратно в Галич посылает. Не удержать отцу великий стол, духу не хватит!

При входе в светелку в ласковых глазах крестника Григорий успел увидеть что-то такое, что испугало его и встревожило. Но, может, показалось... Димитрий сам слил воду крестному умыться, заботливо уложил отдыхать, послал слугу за ужином. Вроде и успокоил напоследок:

– С москвитями миром кончим...

Едва Шемяка вышел, как Григорий словно в черную бездонную яму провалился... Проснулся он непривычно, около полудни: дальняя дорога, тяготы и передрыги дали себя знать. На столе стояла в блюдах тщательно укутанная полотенцами снедь – вспомнилось сразу об ужине, Шемякой обещанном. Григорий спал не раздеваясь и, лишь отряхнув слегка подрясник, встал на молитву. Когда сел за стол утолить разыгравшийся голод, в светелку заглянула старушка-ключница иль нянька, наверное.

– Как почивалось, батюшко? – спросила ласково.

– Слава Богу! – отвечивал игумен, откинув с глиняного блюда укутку и дивясь угощению – парочке жареных цыплят. – Монахи мяса не вкушают. Не знает, что ли, княжич?

– Что с Шемяки возьмешь, ровно бусурман. – поджала губы старушка. – И тебя, отче, хотел, видать, голубками убиенными попотчевать, честь оказать. Любимое лакомство у безбожника. Сизарей, почитай, по всей Москве для него ловили.

– Крестничек...

– Григорий, отодвинув в сторону блюдо с голубями, прислушивался к шуму, доносившемуся с улицы. Он становился все явственней.

– Москвиты радуются. Галичане ночью снялись и ушли тайком из города.

Ключница еще хотела что-то добавить, но в сенях вдруг загрохотали чьи-то тяжелые шаги.

– Где монах?

Ратник в дверях отвесил игумену поясной поклон.

– Князь наш Василий Васильевич тебя, честный отче, требует! У крыльца смиренно ожидает.

Юноша, чем-то неуловимо схожий с Шемякой, соскочил с коня и подошел к Григорию, спустившемуся с крыльца.

– Какой ты, отче... По одному слову твоему вороги мои заклятые из Москвы сбегли. Проси чего хочешь! – князь смотрел на игумена с восхищением и в то же время с плохо скрываемой завистью.

– Покая хочю! – ответил Григорий. – Отпусти, княже, с миром!

Чернеца, идущего с княжого двора с дорожной котомицей за плечами, провожали с великим недоумением и бояре, и ратники, прочая челядь. А игумен держал путь в далекие северные веси, ища желанного душе и сердцу уединения.

Глава 7. Любовь

В городке, где все друг друга знали, как в большой деревне, посплетничать любили и обожали. Что ж тут вроде б такого: Катька Солина пробежала не в лесхозовский барак к шабашникам-гуцулам, а привернула в заброшенный сатюковский домишко, и пошла-поехала там гульба с «энтим самым»! И что выбралась вечерком продышаться и заодно «допнаек» раздобыть облапленная за пышные телеса не каким-нибудь чернявеньким мужичком, а еле-еле державшимся на ногах Валькой.

«Убийца! Распутница!» – плевались, точили остатние зубы старушонки на углах, вечные добровольные городовые, и тут же строили предположения о том, какая ужасная участь неразумного отпрыска Сатюковых ожидает, сколько ему, бедолаге, жить на белом свете осталось. А он брел распьянешенек и в ус не дул, покрепче за Катьку цеплялся, чтоб не упасть до поры. Что ему старушечьи сплетни и пересуды: дома, вон, отец с матерью в себя прийти не могут, сердечными каплями отпаиваются, узнавши, с кем сынок связался. Вицей, как раньше, его не надерешь, ругань – от стенки горох, укору да слезы юное, не изведавшее еще ни настоящей кручины, ни тоски сердце не прошибают.

Валька слышать ничего не хочет. Он голову от Катьки потерял, после бессонных страстных ночей его аж ветром мотает. В избушке любиться благодать – подшуровали малость печурку, чтоб жилым духом пахло, и напару на старом диване жарко. Жрать захочется: сбродит Валька домой, выудит чугунок с супом из печи, наестся, ежась за столом от осуждающих взглядов матушки, кое-какой еды для полюбовницы с собой прихватит. Мать только губы подождет: ругаться уж без толку, хоть к ворожее иди, кабы они водились. Бывало, и навестит, молча, молодых. Катька – ушлая: под одеяло с головой и лежит-полеживает, чувствует, что матушка его не сдернет. Не посмеет: какая там Катька пребывает – «неглиже» или в пальто. Зато в райцентре, в гостях у Катьки, Валька побаивался, хотя и труса старательно «бормотушкой» заливал. Тут и на ум рассказы о Катькиных похождениях приходили, о могучих, покрытых татуировками хахалях, от которых ноги бы успеть унести. Пока все было спокойно. Лишь младшая Катькина сестра, придя с ночной смены с завода, бесцеремонно приподняла с Вальки одеяло и хмыкнула, увидев ровесника:

– Губа не дура. На молоденьких перешла.

Две Катькины дочки детсадовского возраста к появлению Вальки отнеслись по-своему, особо не удивляясь незнакомому дяденьке.

– Ты летчик? – щупали они его кожаную куртку. – Когда еще прилетишь?

Хоть авиатором называйте, хоть ассенизатором – Сатюков на все согласен. Хоть горшком, только в печку не запикивайте! В комнатухе спали всем табором. Теснотища! Катька подкладывала Вальку к себе под горячий бочок, но сколько приходилось ждать сего блаженного мига! Пока девчонки в своем углу в кроватке не угомонятся, пока сестра долго еще на узком, похожем на топчан, диване ворочается и потом – не пойми! – спит или нет. И когда Катька предложила встречаться только в домишке в городке – пусть и редко, но зато вволюшку наобниматься можно – Валька с радостью согласился. Катька наведывалась – и наступал праздник! Июнь теплый, ласковый, еще без туч комарья, выманивал влюбленных из хижины. В светлых сумерках убредали они по берегу речки за окраину городка. Валька разводил костер и, опьяневший и от вина и от близости Катьки, чего только не выделявал: и козлом через огонь скакал, и глотку драл истошно, и валил подружку на молодую травку. Поздно ночью холодало, не спасал и жар дотлевающих углей костра. Валька с Катериной, прижимаясь друг к дружке, норовили побыстрее добраться до домишка и нырнуть в его уютное, пахнущее жилым нутро.

– Люблю. Люблю!.. – еще долго, едва ли не до утра шептали Катькины губы...

Все бы добро бы да ладно, но запропала Катерина вскоре, в условленное время не приехала.

Сатюков заметался туда-сюда, надоумился наконец к подружке Катькиной Томке забежать.

– Ой, Катюшенька-то наша, беда-а! – раскатав накрашенные ярко губы, запричитала Томка. – В больницу попала!

– Чего случилось? – перепугался Валька.

– Сотрясение мозгов!

Томка, хныча, размазывала по нарумяненному лицу тушь с ресниц и со включенными неприбранными волосами становилась похожей на ведьму. Вальке не по себе стало, когда она, злобно скалясь, вдруг хихикнула, с ехидцей добавляя:

– В нужнике, говорят, с рундука пьяная гребнулась. И башкой об стенку! К тебе навострилась, да, видать, не судьба.

Елки-палки! Сатюков побежал, сломя голову, в больницу, но на крыльце ее, переводя дух, опомнился, и страх напал. Как спросить, что говорить? Опять эти многозначительные, насмешливые, осуждающие взгляды... С Катькой-то, когда шли напару, их и не замечал, море по колено. Озадаченный Валька, вжимая голову в плечи, принялся кружить возле здания больницы, и сразу любопытные пациенты стали плющить об стекла в окна свои носы. Оставался еще выход: «налить» глаза для храбрости. Сатюков то и сделал – чем и с кем в городке проблемы не существовало. Нацепив для пущей маскировки солнцезащитные очки, он двинул отчаянно в приемный покой. Столкнувшись там с молодым бородатым доктором, замямлил, с тихим ужасом ощущая, как из головы улетучивается спасительный хмель:

– Мне бы Катю...

– В первой палате, – не раздумывая, ответил бородач, заступая Вальке путь и вызывая насмешливо шурясь. – Постельный режим, пускаем только близких родственников. Вы кто ей будете, молодой человек?

– Я... брат.

– Ну проходи... брат! – ухмыльнулся доктор и уступил дорогу.

Койка, где возлежала Катька, стояла в самом дальнем углу большой палаты, и подойти к ней можно было лишь по узкому проходу, минуя стоящие с той и другой стороны койки с лежащими и сидящими на них, стрекочущими, как сороки, старухами. Бабки, будто по команде, замолкли и вперились в Вальку любопытными едучими взглядами, и если б не очки, Сатюков точно бы сгорел от стыда.

– Садись рядышком на табуретку, – Катька выпростала из-под одеяла руку и, улыбаясь, пожала Валькину ладонь теплыми крепкими пальцами. – Спасибо, что пришел. Я ждала... Это-то зачем нацепил? – она указала на очки. – Все равно тебя узнали. Хочешь, чтоб волки сыты и овцы целы? Так не бывает.

Валька вконец засмутился, сдернул, но опять поспешно надел эти проклятые очки. О чем-то бы надо в таком случае говорить – попроведать ведь больную приперся, да куда там! Бабули, вон, как уши навострили, язык у Вальки сразу к небу прирос. Парень промычал только невнятно.

– Ладно, иди! – опять понимающе улынулась Катька. – Наведайся попозже, скоро вставать разрешат. А это прочти... – она торопливо сунула Сатюкову свернутый вчетверо лист бумаги. – Думала я тут много, пока лежала. О нас с тобою...

Валька – едва с крыльца успел сбежать – письмо развернул: «Ты не переживай, – писала Катя. – Я тебя понимаю, тебе трудно. Ты как между двух огней сейчас мечешься. С одной стороны – Городок, родители, а с другой – я. Не сердись на отца и мать, они желают тебе добра. Жаль, что не верят, что тебе будет со мной хорошо. Я б никогда не обидела их и словом. Прожила на свете тридцать лет, а мало чего радостного видела. Жизнь меня поколотила изрядно, и может, оттого я понимаю многое. Так хочется жить по-человечески. Многим я кажусь несерьезной, пустой. Но кто бы знал, какая под внешней веселостью скрывается тоска! Жуткая... Встретив тебя, я будто очнулась. Сначала боролась во мне два чувства. Думала: зачем мне он? Может, найдет свое счастье без меня? Но чем дальше, тем иначе я думаю. Наоборот, без меня будешь ли счастлив?! К черту разницу в годах! Когда я вспоминаю о тебе, у меня ужасно хорошо на душе. Дети? Это уж тем более не помеха. Если будет нужно, я не боюсь никакой работы. На все меня хватит. Я могу горы свернуть, лишь бы быть нам с тобою вместе. Ты знаешь, у меня мечта появилась... Будет солнечный теплый день, и мы пойдем с тобою – помнишь? – в Лопотово, на монастырские развалины. Это будет у нас самый счастливый день в жизни, вот увидишь. Мне этот день даже снится. И никого во всем мире вокруг, кроме тебя и меня... Пусть болтают в Городке обо мне черт-те знает что! А хоть бы заглянул кто из этих людей мне в душу! Может, я добрее и человечнее, по крайней мере, не глупее их. Какая я – про себя знаю. Плохо делать людям не в моих интересах. А если уж когда развлекусь да подурачусь, так это от обиды и скуки. Тебя я люблю. Но нужно будет убить в себе это – я сделаю. Ради близких людей жизнь научила меня владеть собой».

Из жития преподобного Григория

И десятка лет не минуло, как неподалеку от каменного креста, вытесанного Григорием, стал подниматься монастырь. Алекса, ставя верши на реке, встретился с охотниками: несколько верст встреч речному течению деревушка обнаружилась. Народ с желанием пришел помогать в святом деле. Мужики в лесу выжгли росчисть и покропившему место освященной водичкой игумену помогли срубить первую монашескую келью. Теперь вот и на шатер второй бревенчатой церкви с Божьей помощью крест водру-

зили. Строили вокруг и ограду: место вроде и глухое, но год тих да час лих. Немало воровских людишек шастать стало. И последние послушники, пожелавшие принять постриг в обители, были покалеченные и потерявшие все, что еще могло связывать с миром, люди.

Опять разгорелась с новой силой, дотоле потаенно тлевшая, княжеская междоусобица. Преставился старый завистливый князь Юрий – вроде бы миру долгожданному пришла пора настать на Земле Русской, думать бы надо, как от набегов татарских отшибаться, да нет: видно, Божие попущение за грехи долгим оказалось. Ополчились теперь на московского великого князя Василия дядьевы отпрыски... А князь Василий в недобрый час венец принял: бегал в суматохе из Москвы от Юрия, потом сглупу в полон к татарам угодил – насилу выкупили, а когда в плен к нему попал старший брат шемякин тезка Василий, поступил как язычник поганый, перенял у татар-то – приказал тому очи выколоть. И не ведал, что готовил себе такой же удел...

Не смог противостоять ратям Димитрия Шемяки, бежал и настигнут был погоней. Жестоко расправился с московским государем Шемяка, исполненный мщения: ослепленного, принудил отречься от престола и крест на том целовать. И этого показалось мало: несчастный Василий был сослан в далекий Кирилло-Белозерский монастырь за крепкие стены. Здесь только повзрослел, прозрел духовно незрячий князь. Прознав это, потянулись к нему верные люди и, пока буйствовал и пировал беззаботно Шемяка в Москве, на Севере скапливалось войско. Одно еще удерживало Василия встать во главе рати – клятвенный договор, но его, взяв грех на себя, снял кирилловский игумен... Подошел черед бежать и Шемяке с остатками разбитого войска. Как хищный зверь зализывая раны, укрылся он на вологодской стороне, в Устюге Великом.

Обо всем поведали игумену Григорию забредшие в обитель калики перехожие, и хоть слухом земля полнится, верилось в деяния крестника с трудом. Григорий не раз и не два порывался наведаться к Шемяке в Москву, но застарелые разыгравшиеся хвори не давали ему отважиться в дальний путь. Оставалось уповать только на Божий промысел, молиться с братией в храме и уединенно в келье: «Господи Вседержителю, Боже отец наших, наставь неразумных прекратить брань братоубийственную...»

Зимние сумерки – ранние, когда Григорий вставал в своей келье на вечернее правило, месяц вовсю заглядывал в окошко. Дикий истошный вопль – показалось игумену – разорвал, встряхнул благодатную тишину внутри монастырского дворика, заметался неистово гогочущими отголосками, отскакивающими от шатров колоколен и наверхий стен ограды. Григорий бросился к окну и обмер – посреди двора бесновалась куча омерзительных гадов. Заметив игумена, они, завизжав, потянули к нему свои уродливые лапы, стали обступать келью, стуча в стены; дверь от страшной силы ударов заходила ходуном.

Игумен упал на колени перед иконами: «Господи, помоги! Спаси раба твоего грешного!» Торопливо, сбиваясь, он начал читать молитву об отгнании бесов... И утихомирился охвативший Григория тряс, сердце утишило испуганные скачки, наполняясь мужеством. Взяв честной крест и из-под божницы сткляницу со святой крещенской водой, игумен решительно распахнул дверь... Но на воле было тихо, падал редкий снежок, робко проглядывали в просветах между туч звезды. «Ой, неспроста видение! – обессилен разом, Григорий сел на пороге. – Раз враг рода человеческого видимыми своих слуг сделал». Так и вышло. Утром вздремнувшего игумена разбудили – прибыл человек с худой вестью. Шемяка, собрав войско, двинулся с Устюга на Вологду, разоряя и предавая огню попутные села. И скоро уж стоять ему под Вологодой, стервецу. А там и путь на Москву откроется...

– Не след, видно, отсиживаться мне, братие! Никак не отпускает мир! Надо вразумить нечестивца...

Григорий спешно собрался в дорогу, и легкий возок, с облучка которого правил лошадкой верный Алекса, запкидывало по волоку.

Глава 8. Искупление

Старик не любил, чтобы его во время пространных монологов тревожили. Некто в дальнем углу тоже не любил вторжения посторонних: потревоженный и обиженный в этот вечер мог больше и не вернуться. Хотя потревожить Зерцалова могла только жена. Бывшая соседка, тоже пожилая, по прежней памяти каждый день навещала стариков, но на бесконечно тянувшийся вечер и на еще более долгую ночь они оставались в доме одни.

В двухэтажной развалине, обветшавшей совсем за столетие с лишком, скрипели полы, хлопали двери и окна, всякие пугающе-непонятные шорохи хоронились в темных углах, порою чудились чьи-то шаги. Василий Ефимович на это уж давно не обращал внимания, но в последнее время еще одни прибавившиеся звуки стали его раздражать. В самый разгар монолога за чуть приотворившейся дверью начинало

раздаваться тяжкое сопение. Мария Платоновна предугадывала жгучее желание мужа захлопнуть дверь, широко распахивала ее и с порога – растрепанная, со злым обрюзгшим лицом, в накинутой на плечи грязной затрапезной душегрее – сердитым, осипшим, точно ослабленная басовая струна, голосом принималась пилить:

– С кем это ты все разговариваешь? Кто там опять у тебя? Допринамаешь, доназываешь гостей, что обворуют – глазом не успеешь моргнуть! Она, приходили Сашка-дурень с каким-то парнем... Так и зыркают оба, чего бы спереть. И сам с собою дотрекаешь, что черти блазниться будут!

Жена, тяжело опираясь на костыль, грузными шагами двигалась по горнице, голова ее дергалась в нервном тике, едва различимые над отечными синими мешками глазки поглядывали злобно и подозрительно. Старик на ее ворчание не возражал, пережидал, пока она уйдет, вжимался в кресло. Наконец захлопывалась дверь, бурчание и шаги затихали в соседней комнате. Зерцалов облегченно вздыхал: «О, Господи, в юности такая ли она была?!» Тот, невидимка в углу, слава Богу, в этот раз не исчез, похоже, даже приготовился слушать внимательно...

Василий тогда, после расстрела в монастыре, доставленный в лазарет, отходил долго, старенький доктор сомневался – уж оживет ли. Голова, особенно там, где была рана возле виска, постоянно болела; происшедшее Зерцалов вспоминал с трудом: какие-то обрывки возникали в памяти, начинали роиться, собрать их в единое целое не удавалось.

– Похоже, вы, голубчик, отвоевались! – напутствовал его на прощание доктор, поглядывая на белую повязку, видневшуюся из-под фуражки. – Благодарите Бога, что живой остались!..

Зерцалов, бесцельно набродившись по улицам городка, где-то на окраине вдруг ощутил, как качнулась, стала уходить в сторону земля под ногами. Он схватился за частокол первой же изгороди и, подламываясь в коленках, медленно сполз в пыльную крапиву. Опять замелькали перед глазами, перемежаясь с разноцветными кругами, чьи-то бледные, отрешенные от всего лица, качнулся ряд выплевывавших огонь черных винтовочных стволов... Туда, к каменному, преподобного Григория, кресту надо!

– Где-ко, солдатик-от пьяной! – послышался откуда-то сверху насмешливый голос.

– Молчи, дурища, не видишь – раненой! Головушка ить как разбита! – отозвался кто-то сердобольно.

Незнакомые люди обогрели, отпоили горячим отваром, уложили спать, но, едва свет, Зерцалов уже был в дороге... Крест разыскать он так и не смог. Накружился вдосталь в окрестных возле опустевшего монастыря ельниках и сосняках: вроде б выходил на похожие, ведущие к роднику тропинки, да спотыкались они, терялись в чащобе. Местные жители как воды в рот набрали – сколько ни расспрашивал их, поглядывали в ответ либо непонятливо, либо испуганно. Нашелся один древний дедок, подсказал:

– Крест-от басурмане, изверги те вывернули да на убиенных в яму столкнули и зарыли потом... Только понапрасну, парень, ищешь. Не откроет теперь Григорий святое место, коли его осквернили. Да и зачем тебе оно, рази кому там поможешь?

И Василий не выдержал мутного взгляда стариковских глаз. Он слонялся по начавшему дичать монастырскому саду, не ведая уже: оставаться еще и искать или же отправляться восвояси, когда возле сторожки в глубине сада заметил немолодую женщину с закутанной по-монашьи в черный платок головой. Оглядываясь, она прошла с ведром к колодцу, наклонилась над срубом и неловко, неумеючи почерпнула воды. Зерцалов ее узнал, и первой мыслью было повернуться и бежать прочь. Это была жена расстрелянного Зубовского Анна Петровна. Близоруко вглядывалась она в Василия, вначале настороженно и с испугом, потом неверяще и обрадованно:

– Васенька Зерцалов...

Василий, боясь поднять глаза, приложился губами к ее маленькой, застывшей на осеннем холоде ручке.

– Ой, батюшки, горе-то у нас какое... Платона Юльевича антихристы!.. – Анна Петровна заплакала, прижала лицо к груди Василия. – И Машенька лежит, больна очень, ни с места. Ладно, люди добрые помогают.

В сторожке – сумрак, пара крохотных оконцев едва пропускала свет. Анна Петровна, вздыхая, зажгла огарок свечи.

– Сейчас, Машенька, сейчас, милая, чайку попьем. И гость с нами.

Зерцалов рассмотрел на подушке стоящей в углу кровати белокурую голову девушки – встретиться бы где случайно, и точно бы прошел мимо Маши Зубовской, как незнакомой. Бледное, без кровинки, лицо и огромные, беспомощно взглянувшие глаза... Чашку чая Василий не допил: смотреть на хлопочущую хозяйку и больную дочь стало неумоготу. Отговорившись чем-то, он вышел на крылечко и в ранних сумерках, не разбирая дороги, побрел по саду, едва не натыкаясь на стволы деревьев. «Господи, помоги!

– сжимал и тер он в отчаянии виски. – Почему?.. Они ничего обо мне не знают... Рассказать им обо всем? Нет, нет, только не это!» Заморосил мелкий нудный дождик, осыпавшиеся кроны деревьев пропускали влагу, и Василий вскоре вымок до нитки. Стуча зубами от холода, он в конце концов вернулся к сторожке и еще долго топтался на крылечке, не решаясь постучаться. «А если остаться около них? – осенило его вдруг. – Самому-то куда идти? И попытаться искупить вину...»

Он остался, Зубовские были только рады. Перебивались кое-как. Когда в монастыре организовали коммуны, Василия попросили присматривать за садом, где приноровился он развести пасеку. Местные власти поглядывали на Зерцалова хоть и искоса – все-таки барского роду-племени, но и не докучали особо: красный командир, вдобавок раненый. Так и ходил он постоянно в поношенном френче, перехваченном ремнем, в галифе, в начищенных до блеска в сапогах; летом в кепке, схожей с фуражкой, зимой – в папахе. И до того привыкли к его полувоенному виду люди, что появившись он в гражданской одежде – вот бы, наверно, было удивление.

Манечке Зубовской Василий сделал предложение. Выздоровевшая и окрепшая Маша от удивления захлопала густыми ресницами и смутилась, зато Анна Петровна благословила молодых с радостью и облегчением – сама теперь на смену дочери слегла и иставала тихо. Не венчались – церкви закрыты и в сельсовет «расписываться» не пошли. И не замедлила, лягнула она. В блюде-то жизнь... Схоронив матушку, погоревав, Манечка ровно взбесилась. Женщина грамотная, в колхозной конторе ей местечко нашлось. Там с компанией связалась, едва в комсомол не затащили, кабы не происхождение. Но по избам-читальням исправно ходила, где и спуталась с конюхом Митькой, по кустам с ним стала шарашиться.

В деревне все на виду и на слуху; кто жалел, а кто осуждал Зерцалова – что за мужик, нет бы положил конец прелюбодейству! Но Василий лишь скрипел бессильно зубами: вроде муж и не муж, а так – сожитель. Заикнулся несмело – Мария сходу заявила: под венцом перед Богом с тобой не стояла и записи о нашей совместной жизни нигде нет. Вольная птица, свободная женщина. Митьке вот только скоро она наскучила, наигрался парень вволю, а в жены брать белоручку – Боже упаси! Да и вроде она замужняя... Мария, опять же по совету новых своих подружек, сходила к знахарке и приползла потом домой чуть живая. Василий уж думал – все, хлопотал над ней, позабыв обиды, отпаивал с ложечки, доктора из города пригласил. Супружницу удалось выходить. Присмирела она, замкнулась в себе, и случилось, иной день Василий слова от нее не слышал. Но стоило однажды вспыхнуть мелкой ссоре, как попрекнула:

– Зря со мной водился-то... Лучше было б мне за матушкой вослед.

Зерцалов, уйдя из дому, долго, дотемна, сидел тогда, разведя костер, на берегу речки. Хотелось куда-нибудь уехать, но куда? Кому он был нужен?.. И никак не ожидал, что мог Марии так опостылеть. Любил ли сам ее? К той девочке, в горячке беспомощно разметавшейся по кровати, пробудилось чувство, но когда он решил опекать семью расстрелянного им человека, остаться с ней, исполнение долга возобладавало над всем. Даже заглушило ощущение вины... Поначалу он втайне гордился своим поступком, и ему не могло прийти в голову, что через несколько лет он может оказаться просто-напросто лишним.

Василий посмотрел на насупившийся за речной излучиной в подступавшей темноте вековой ельник, вздохнул, пытаясь отогнать мрачные мысли. Теперь вот, не по один год, не бродил в чащобе, не искал каменного креста, безымянной могилы. Не желал, видно, преподобный Григорий место указать. Или время еще не пришло?.. Вернувшись, Василий в избу не заходил, лег в сенцах на постель из соломы и не успел глаз сомкнуть, как раздался требовательный стук в дверь.

– Зерцалов? Собирайся!

Ввалившиеся мужики в штатском перевернули вверх дном все в доме и втолкнули Василия в «воронку», оставив растерянную и перепуганную Марию.

... В камере Зерцалов заметил, что к нему постоянно присматривается один из арестантов со смуглым изможденным лицом со следами побоев. Пристальный взгляд черных печальных глаз преследовал Василия всюду. Арестанта чаще других выводили из камеры, надолго, и приведенный обратно, он забивался сразу в дальний угол, тяжело вздыхал, заходил в захлебывающемся чахоточном кашле, и когда отпускало, стонал негромко. И опять искал взглядом Зерцалова. Ночью наконец подобрался к нему и зашептал на ухо:

– Признал я тебя, Василий. Никак не думал, что ты живой. Яков я, Фраеров! Забыл?

Яков закашлялся, и Зерцалову, обеспокоенному и растерянному, пришлось терпеливо ждать конца приступа. Радости от встречи он что-то не испытывал.

– Из виду я тебя потерял. Чаял тогда, у креста-то Григорьева, тебе пулей насмерть отрикошетило. А тут, еще до ареста, случайно услышал: жив, здоров и в тех же краях проживает. Ну, думаю, воскрес. В

Бога не верил, а тут поневоле верить начал. Сберег тебя Григорий-заступничек!.. Я вот чего тебе скажу и никому другому... – Фраеров в душевной полутьме камеры закрутил головой, заозирался, прислушиваясь к храпу и сонному бормотанию сокамерников. – Чую, не сегодня-завтра шлепнут меня! Не нужен стал, – он зашептал еще тише, Василий еле угадывал его слова. – Не охота уносить с собой... Я тут не в одной камере сидел, сволочей и своих красноезвездных и чужих-ваших простукивал да под «вышку» подводил. Добровольно на это пошел, едва арестовали. Не виноват я!.. – Фраеров пристукнул кулачком в грудь и опять зашелся в кашле. – Но вместо свободы и награды забивать еще пуще стали. Я теперь всех оговариваю – и виноватых, и правых... А ты, раз выжил, живи дальше, нет ничего на тебе. И еще один грех на мне – дядюшку твоего, заложника, в первую же ночь расстрелял.

Фраеров неприятно задрожал мелким смешком.

– Не поп ты, а тебе покаяться...

Василию захотелось брезгливо отодвинуться от него: было и страшно и гадко, но было и почему-то жаль этого, опять согнутого в дугу кашлем, вырывающимся из отбитых легких, уползающего в свой дальний угол человечка. Утром Фраерова увели из камеры, и больше он не возвращался.

...Сашка Бешен и Валька слово сдержали: раздобыли лошадь с тележкой, посадили старика на охапку сена и отправились в монастырь. Тронулись не рано, солнце стояло уже высоко, парило, как перед ливнем. По дороге, развороченной весной колесами и гусеницами тракторов и теперь высохшей, с выворотнями земли, колдобинами, ямами, кобыла, боясь обломать ноги, вышагивала неторопко, но телегу все равно подбрасывало и трясло почем зря.

Зерцалов, вцепившись бескровными иссохшими пальцами в грядку телеги, как выехали, не проронил ни слова: порою казалось, что старик, полулежа на сене, спит с открытыми, подернутыми мутной мокротой глазами.

Побеспокоил, разбудил его тяжелый дурной запах, который временами приносил ветерок, особенно когда повозка выскакивала из перелесков, обступающих дорогу, на ровное открытое место. На речном берегу уже стало не продохнуть... Вода в реке текла черная, с белыми пузырящимися барашками ядовитой пены на поверхности. Ни зеленого листочка водоросли, ни резвящегося рыбного малька; вдоль обоих берегов тянулась желтая мертвая канва. Лошадь зафыркала, уперлась, не пошла вброд. Сашка соскочил с телеги, ухватил кобылу под уздцы и, уговаривая, кое-как затянул в реку. Перевел, сам бултыхаясь по пояс. За речным изгибом вроде все так же приветливо и весело зеленел монастырский холм с развалинами церковей. Старик попросил остановиться, слез с телеги. Придерживаясь за нее, побрел рядом, торопливо и жадно озирая окрестность.

Когда взобрались на холм к остаткам крепостной стены, нескрываемая, почти ребячья радость с лица старика исчезла; он был растерян, похоже, узнавая и не узнавая место. Да и Валька, понуро плетясь позади всех и высматривая тайком домишко, где когда-то варзал, с удивлением не находил его. На месте деревеньки горами головешек чернело пепелище, валялся битый кирпич, распяливали обугленные сучья деревья. А там, где стоял прежде домик, начиналась испаханная тракторными гусеницами и полозьями саней полоса с вмятыми в землю, еще кое-где зеленеющими искореженными яблоньками и, извиваясь, тянулась к вырубленному бору. У оставшихся у самой воды вековых елей желтела, осыпаясь, хвоя: весенний паводок погубил их.

Старик не смог преодолеть рытвину на месте крыльца домика, споткнулся и боком упал на груды вывернутой глины. Бешен и Валька бросились ему на помощь, но он остановил их слабым жестом руки и ладонью прикрыл глаза.

– Сад у него тут был, – вполголоса забормотал на ухо Вальке Сашка. – Престарелый, монастырский-то в войну вымерз, пока старик в лагере сидел. Так он новый посадил, и – смотри! – что гады вытворили, объехать поленились. А домик у деда еще раньше какие-то идиоты разорили, сам я потом окна досками заколачивал. И уехал-то он всего на ночь: косари в баньке мыться собрались, да загуляли, в городок их понесло, и Василия Ефимовича с собой сманили... Он все домишко отремонтировать хотел, да слег, больше сюда и не бывал. Я сам не рад, что его привез. Знал, что реку стоками с бумажного комбината отравили. Что ж творится здесь, Господи!..

Сашка, не переставая, бубнил и еще, Сатюков же виновато прятал глаза. Казалось, что и старик, и Бешен знали про его здешние прошлые проделки. Хотелось, как в детстве, набедокурив, убежать, но Валька стоял и боялся взглянуть на опущенные худые стариковские плечи и облепленную белоснежным пухом голову. Старик, отняв от глаз мокрую ладонь, пытался всмотреться в расплывчатые очертания изувеченного, наполовину вырубленного ельника. Где-то там прикрывал вытесанный игуменом Григорием

крест косточки невинно убиенных, и на том месте кто-то без тоски и горя валил деревья, потом трелевал их к дороге, уничтожая попутно сад. А ведь даже в войну бора не тронули...

Надо туда добраться, может, родник найдется и крест укажет! Но подняться не было сил...

– Живого бы довезти! – озабоченно сказал Бешен.

– Ведь это я, я его!.. – неслышно шептал Валька.

Из жития преподобного Григория

Предав разору село великокняжеской вотчины, довольный Димитрий Шемяка ехал во главе рати. Хмельно шумело в голове то ли от крепкой медовухи, то ли от пролитой крови. Опять близок дедовский престол, еще малость поднатужиться – и вот она, великокняжеская власть! И до того, что у Василя, ослепленного и уже прозванного Темным, прав больше и поддерживает его народ, измотанный и обескровленный княжой распрей, так то не больно важно. Верных Василю людишек и обуздать можно и в крови утопить – взять бы белокаменную! Пока впереди Вологда. Эх-ма! Завалим!

А на воле как любо! Легкий морозец пощипывает щеки, в лучах клонившегося к закату багрово-красного солнца змеятся синие тени от деревьев, пересекая волок. Давит лес с обеих сторон узкую дорожку, стоит сплошной, засыпанной розовым снегом стеной и – вдруг – раздвигается перед рекой. Застучали конские копыта по настилу моста. Карько под задремавшим князем всхрапнул, отпрянул назад. Гомонившие за княжеской спиной ратники смолкли. На середине моста, возняв посох, стоял чернец.

– Стой, князь! Стойте, люди! – обратился он властно, твердо. – Не довольно ли вам пролитой крови христианской? Ужель алкаете ее, аки звери лютые? И кара Божия вам не страшна?! – глаза монаха изпод низко надвинутого клобука неотступно-строго смотрели на притихших ратников. – Призываю вас повернуть вспять коней своих, вернуться в родные веси. Хватит братоубийства на ликование врагам Земли Русской! К тебе, княже Димитрий, крестник мой, взываю – замиришь с братом своим Василием, перестань против него которы чинить. Пойми и заруби себе, что не ты по закону над ним старший, а он над тобою...

– Не бывать тому! – разъяренным медведем взревел Шемяка, было трусовато притихший при нечаянной встрече с крестным своим игуменом Григорием, которого уж в живых-то не числил, но при одном упоминании имени князя московского потерявший сразу всякий рассудок. – Эй, молодцы! – крикнул он двум кметям. – Свалите-ко мниха с дороги, чтоб не смердил тут!

Здоровенные кметы легко, как перышко, подкинули почти невесомое тело Григория и свергли с моста. Короток Шемякин суд. Только и успел прохрипеть чернец:

– Будьте вы прокляты!

Глава 9. Яма

Из больницы Катька пропала, как в воду канула. Валька, обеспокоенный, не стал дожидаться утреннего рейсового автобуса, взял у знакомого напрокат велосипед и рванул в райцентр. На Катькиной квартире запыхавшегося с дороги Сатюкова встретили удивленно вытаращенными глазами младшая сестра Катьки и дочка. Ни слуху ни духу... Валька промотался весь следующий день, как опоенный, в конце концов вечером оказался в пьяной ватаге парней, и когда вытягивал уже через силу очередной стакан «бормотухи», кто-то из вновь прибывшихся к компании ему словно ведро холоденки на голову вылил:

– Катька-то твоя с хохлами в бараке... Говорят, из больницы удрала и – на делянку в лес, к бригаде! Запила там и все такое. С какой-то еще лярвой по переменкам голышом через скакалку перед мужиками прыгали...

Все-то уж в городке знали и знали все, только вот Валька ушами хлопал да сопли жевал. То-то парни поглядывали на него – кто с усмешкой, кто сочувственно. А он понять не мог... Сатюков взвыл, выглотал залпом «бормотуху» и, ошалело выкатив глаза, помчался к лесхозовскому бараку.

Лесорубы-закарпатцы, мужики семейные, обстоятельные, за зиму заколотят на делянках длинный рубль и по весне задают тягу в родные края, уступив место черноусым «мушшинам» в кепках-аэродромах какую-нибудь конторку или коровник строить. По городу, по злачным местам, по танцулькам лесорубы не шатаются, а обычно обжимают по домам голодных до любви молоденьких разведенков, но все равно держатся в своем бараке сплоченно: вроде б и не оккупанты, да на чужой земле. Впрочем, особо нетерпеливые местные бабенки поплотше сами к ним по ночам шастают, и когда бригада в городке после делянки на отдыхе стоит, порою крутое идет гульбище.

Вот он, приземистый бревенчатый, по-стариковски скособочившийся барак на берегу реки! Валька сходу пролетел темные сени. Яростно пыхтя, нашарил дверную ручку, рванул... В большой комнате с низким закопченным потолком на затоптанном дочерна полу стояло с дюжину неряшливо заправленных коек, за столом посередине трое молодых мужиков, нещадно дымя, лупились в карты. При свете тусклой лампочки под потолком иной из них подносил подслеповато к глазам карту, прежде чем хлопнуть ею об изрезанную, усеянную черными точками – следами от искр папирос, столешницу. Но Вальке и тусклый свет, и сизое облако табачного дыма, шибанувшее в глаза и в нос, были нипочем – с подушки на койке в углу свешивался рыжий жгут Катькиных крашенных волос!

Сатюков, долго не раздумывая, с грохотом опрокидывая табуретки, летом пролетел с порога в комнату и сдернул одеяло. На койке обнаружилась Катька в объятиях чернявенького мужичка. Валька на мгновение застыл, расправив рот, потом, осатанев, вцепился в Катькину руку и, что есть силы, потянул. Но сам едва не упал рядом. Вытащить благоверную – пуп сорвать: Катька лишь села, свесив на пол ноги, пьяная вдрабадан, ничего не понимая и заваливая голову со включенными волосами на плечо. Была Катька в чем мать родила, да и мужичок, сосед ее, лежал смиренно, словно Адам в раю, пока прикидывался спящим, хоть и приоткрывал настороженно один глаз. Вконец растерянный Валька заканючил, готовый расплакаться:

– Катя, Катенька, вставай! Пойдем!..

Мужики побросали карты. Нарочито лениво, нехотя поднялись из-за стола и стали обступать Вальку.

– Гей, пацан! Чи тоби треба?

– Ша, дурни! Ваше ли дило?!

Пожилого плешивого мужичка, видно, «бугра», обнаружившегося на койке у окна, они послушались сразу, поохолонули.

– Уходи, парень! И мадаму свою забирай! Не мы их приводим, сами к нам лезут!

Лесорубы, ухмыляясь, просунули Катьке руки в рукава плаща, пихнули Вальке ее халатик, и не успел Сатюков глазом моргнуть, как оказался вместе с Катькой вытолкнутым за двери. В сенцах мало-помалу оклемывавшаяся Катька засопровтивлялась, стала рваться назад, в темноте расквасила Вальке нос.

– Уйди, сволочь! Салага! Ненавижу! К мужикам хочу!

Сатюков разъярился, глотая горячую юшку, ухватил Катьку за волосы и только так смог выволочь на улицу. С расшатанных гнилых мостков они свалились в придорожную канаву, забарахтались, как кутята. Валька оказался верхом на Катьке, принялся молотить ее кулаками. Под ударами Катька лишь мычала, распластавшись в грязи, Валька скоро выдохся. Без сил он упал рядом и, уткнувшись лицом в ее увоженный глиной плащ, заревел в голос...

Остальное все происходило будто в дурном сне или в плотном, застязшем глаза тумане. Мимо проходили какие-то люди, что-то говорили, смеялись, указывая пальцами; потом, глубокой ночью, держась друг за дружку, Валька и Катька брели чуть ли не на ощупь по дороге... Очнулся Сатюков в хибарке от яркого солнечного света, бьющего из окна. Был, наверное, полдень. Рядом шевелилась, просыпаясь, Катька. Во вчерашнее не верилось, словно привиделось все в предутреннем, с «бодуна» кошмаре. Но нет. Катька, едва села на диване, так и застонала, заохала.

– Полюбуйся...

Валька с изумлением, ощущая неприятный ерзающий холодок по хребту, начал изучать на Катькином обнаженном теле проступающие иссиня-зловещие кровоподтеки..

– Благодарю Бога, что пьяная без памяти была. А то сгоряча удавила б...

Валькины исследования прервал его отец, вошедший в незапертую дверь. Молчаливый, грузный, он относился к сыновним похождениям внешне спокойно: хмыкнет, почешет лысину, но словом худым не укорит. Да, видать, и его «достали» Валькины любовные утехы. Отец, так же, как всегда, молчал, но и цацкаться долго не стал – ухватил Катьку и потащил к выходу. Та, комкая на груди одеяло, завизжала отчаянно. Валька, очнувшись от столбняка, вызванного папашиним появлением, бросился подругу вырывать, но отец дал ему такого тычка, что он отлетел и башкой об дверной косяк треснулся.

– Что, дурень, в тюрьгу из-за нее, сучки, захотел?! – ругался отец. – Так ведь сядешь, коли шарабан твой пустой она тебе сама не оторвет! Ей же убить – раз плюнуть! Весь город вчера над вашей дракой потешался!

В помутненном Валькином сознании мелькнул проблеск – ружьишко! Память от деда, в чулане под диваном запрятана! Запросто с папашей не совладать, оплеуху только опять получишь. А тут посмотрим...

Заряжено ружье или нет, стрелять из него собрался или припугнуть только, да и сможет ли оно выстрелить вообще – вместо бойка загнан гвоздь, Валька не смог бы ответить. Сгреб ружье и – следом за

отцом и Катькой на двор: они уже были там. Отец, увидев направленное на него ружейное дуло, побледнев, отшатнулся в сторону, а Катька резко вывернула Валькину руку, сжимавшую ружье, вверх. Выстрел бабахнул, оглушив всех, обдав пороховой гарью; с крыши посыпались кусочки прогнившей дранки. Катька, забежав обратно в дом, вышла одетая и торопливо пошагала по улице прочь; Валька же, выронив дымящееся ружье и трясая отшибленной отдачей рукой, помчался вслед.

Она внезапно около лесхозовского барака остановилась:

– Не ходи за мной больше никогда, понял?! Всё! – заговорила зло. – Поймешь – почему, когда-нибудь... Я в яме, в дерьме по горло, уже не вылезть, а тебя за собой тянуть не хочу! Живи...

Валька с жалкой глупой улыбкой попытался обнять Катьку, но она отстранилась, жестко усмехаясь.

– Не понимаешь? Думаешь, сотрясение-то мозгов я, с рундука слетев, заработала? Это хахаль меня попотчевал, горячий попался. Пусть родители твои спасибо скажут, что тебя еще сберегла, дома у меня показываться запретила... Хотела я, чтоб жизнь-то тебя побила! С мое! Понял бы тогда меня... И перед отцом извинись.

Глава 10. Побег в прошлое

С Любкой не видались с проводин в армию. Очутившись на «гражданке», Сатюков о прежних друзьях-приятелях вспоминал редко. Слышал, что Сережка после «срочной» подался в прапорщики, а Любка-Джон перебралась в райцентр и живет там с какой-то бабой и тремя ребятишками. Вальку это не удивило – от Джона можно всего ожидать. Когда Валька столкнулся в райцентре с Любкой – и обрадовался, и растерялся. Облапил старую подружку за худенькие острые плечи и тут же испуганно отпустил. Любка, все такая же, в джинсовом своем костюмчике, поморщила веснушчатый носик и, глянув испытующе на Вальку, видать, заметила в невеселых глазах его кручину.

– Вино-то пьешь?..

В тесной комнатенке с грязными ободранными обоями на стенах Любка теперь, должно быть, обрелась. В соседней, еще меньше, клетушке виднелись двухэтажные, наподобие нар, кровати с кучами тряпья. Под незатейливую скудную закуску «развезло» быстро. Вспоминая былые походы и приключения, Любка и Валька орали, перебивая друг друга, смеялись до коллик в брюхе, а когда наконец выдохлись, Сатюков, помрачнев, рассказал про Катьку.

– Больше не встречались с ней? – спросила Любка.

– Приходил как-то вечером к ней... Выпить вынесла на крыльцо и закусить, посидела. Ночевать, говорю, останусь. А она – ни в какую! Девчонки, мол, дома спят, положить некуда. Давай лучше к знакомому одному отведу!.. Знакомый Катькин, видать, «синяк» еще тот. На кухне – «батарея» пива. Пей, утоляй жажду. А вот – раскладушка, спи. Катька, вижу, к мужику тому прыг в постель! Подвинься, говорит, припозднилась я, у тебя останусь. Тот рад-радешенек, замурлыкал, как котиче. А через недолго, слышу, и зашабарошились... Я дверь саданул, чтоб они там, падлы, подскочили, сам на улицу и – пехом до городка!

– Бросила она тебя, – придавила зевок ладошкой Любка.

За столом образовалось затишье, и этим воспользовались трое ребятишек, в щель приоткрытой двери с любопытством изучающих незнакомого гостя, яростно кому-то грозящего кулаком. Ребята шустро подбежали к столу, схватили, что попало под руку; самый меньшей, чавкая набитым ртом, взобрался Любке на ногу и, раскачиваясь, пропищал довольный:

– Папа...

Любка смутилась, грубо стряхнула мальчика:

– Какая я тебе папа... В тюрюге твой папа сидит.

– Это что такое? Опять попойка? – в проеме распахнутой двери встала, уперев руки в бока, полная немолодая женщина и пошла крыть Любку почем зря. – Совсем стыд потерял! Деньги пропиваешь, от ребят рвешь!

– Свой это! – кивнула Любка на Вальку. – Можешь не притворяться.

– По мне хоть свой, хоть пересвой! – не подумала уняться Любкина сожительница.

Сатюков счел за нужное смотаться.

– Я с тобой! – Любка каким-то обманым манером сумела прошмыгнуть мимо своей хозяйки и во весь опор понеслась за Валькой.

– Поехали в городок!

– В городок! – согласилась Любка.

Они, сталкиваясь со встречными прохожими, мчались к автовокзалу, и им, возбужденным, запыхавшимся, виделась бесшабашная счастливая прежняя житуха. Вот только сядь в автобус и...

Позади все явственней стали слышны крики. Любкиной сожительнице было тяжело бежать, задыхнулась вся, пот катил с нее в три ручья, но баба она оказалась упорная: почти догоняла, и можно уже было разглядеть ее перекошенное злобой лицо. Беглецы, пытаясь оторваться, свернули в проходной двор, рванули глухим проулком, но дама разгадала их замысел и, еще бы чуть-чуть, перехватила бы на углу. Любка стала ей отвечать на выкрики, потихоньку отставая от Вальки, и вот уже они стояли друг против дружки и спорили. Сатюков, остановившись поодаль, подождал-подождал и, увидев, что бабенки, по-прежнему переругиваясь, побрели обратно, понуро поплелся к автобусу.

В городок он возвращался один...

Из жития преподобного Григория

Войско, растянувшись длинной змеей, проезжало по узкому настилу моста, примолкнув: ратники, хмураясь и обрываясь сердцем, косились на распластанное на льду и похожее на черный крест тело чернеца, лежащего с раскинутыми в широких рукавах рясы руками. Едва скрылись последние шемайкины вояки, из придорожного ельника выбрался Алекса и катом скатился с крутого берега к игумену. Прижав ухо к его груди, вздохнул обрадованно – жив, но затревожился: как бы бесчувственного довести, разбился крепко.

– Достану я Шемяку, дай время! – бормотал Алекса, укладывая бережно Григория в возок. – Измыслию, как антихриста извести.

В обители ожидали воровского нападения, готовились, но кто-то из калик перехожих принес слух, что половина шемайкиной рати, убоявшись игуменского проклятия, рассеялась, и сам князь, с остатками потоптавшись под Вологодой, измученный дурными снами и предчувствиями – осознал, видно, что натворил! – бежал восвосяи опять в Устюг.

– Оклемается змий, снова поползет губить народ православный! – поговаривали в монастыре. – Его, святотатца, и проклятие не удержит.

Пропал куда-то Алекса. Стоя на коленях возле ложа игумена, еще не пришедшего в себя, пошептал что-то, положил его руку себе на голову, поцеловал и был таков. Григорий, очнувшись, первым делом о нем спросил. Иноки не знали, что и ответить. Игумен же закручинился, так и лежал, не вставая: жизненные остатные силы тихо покидали его. При ясном уме Григорий отдавал последние наказы, и обитель вроде бы теплилась прежней своей, непоколебимой ничем, жизнью. Но все ожидали со страхом...

Слух обогнал вернувшегося Алексу. Преставился от неведомой болезни в адских муках и корчах князь Димитрий Шемяка. Все от вести такой вздыхали с облегчением, поспешно и истово крестились, с благодарением поднимали глаза к небу. Алекса пал перед игуменом, тот благословил его с одра слабеющей рукой.

– Грешен я, отче! – заговорил покаянно Алекса. – Удумал, как Шемяку, крестника твоего, извести... К сизарям голубь-чужак прибился. Черный, с переливчатым ровно радуга пером, благородных кровей, что ли. Приметил я его и изловил, зная княжой вкус. Добрел с птицей до Устюг-града и к поварне шемайкиной: дескать, заморского голубка в подарок несу и блюдо лакомое из него сготовить разумею. И поперчил ядом, пока повара отворачивались!.. Еле ноги унес. – Алекса подполз на коленях еще ближе к игумену и склонился к самому уху, бормоча: – И еще пуще грешен я, отче!.. Благословение у тебя, беспомытного, тогда взял. Руку твою на главу себе сам возложил...

Григорий зашептал что-то, сиплый прерывистый клетот его мало кто из обступивших одр иноков смог разобрать:

– Преставляюсь... тело мое нечестивое... ввергните в болото. Достоин того... Бог простит ли...

Глава 11. День поминовения

Начало 21-го века

Вальке Сатюкову, когда случалось бывать под изрядной «балдой», полюбилося кого-нибудь изображать. Смотря по обстоятельствам. На этот раз, сидя в купе поезда Москва-Череповец и вертя напрапалую головой с изрядно заметным пятакон проплешины – после тридцати засветился, засиял проклятый, будь неладен, ероша черную курчавую бороденку, приглядывался Валька, щуря и без того узкие хмельные глаза, к соседям по купе. Две здоровенные, грудастые, широкобедрые, лет под тридцать бабенции вроде бы увлеченно подтыкали пальцами топающего по сиденью игрушечного робота, а сами с любопытством поглядывали на Вальку. Возле них с краешку лепился паренек не паренек, мужичок не мужичок, а какой-то хлюст с подбитыми глазами.

С начавшейся дорогой на пассажиров тут же навалилась охота жрать. Там и сям зашуршали разворачиваемые свертки, забрякали кружки и стаканы, раздалось смачное чавканье: избежавший по столице, изголодавшийся люд насыщал чрева свои. Валька, сглотнув голодную слюну, потупя взор, скромненько извлек бутылочку пивца; мужичок-паренек напротив, радостно взвизгнув, пустился чуть ли не в присядку – пышногрудая молодуха рядом с ним закрутила «змия» в бутылке с водкой.

– Будете? – заметив голодный отблеск в Валькиных глазах, предложила.

На «старые дрожжи» Вальку понесло, одно только исподтишка его грызло: не знал, кем назваться. И он решил с этим погодить. Пышногрудую молодицу звали Катериной, соседку ее, габаритами чуток помельче и на личико много дурней, – Любашкой, а спутник поименовался робко Виталиком.

– Муж мой, – с небрежением кивнула на него Катерина.

Разгуляться не успели – загорланила компания в купе рядом. Немолодой, с большим брюхом и вислыми усами мужичок южной национальности выглянул оттуда, лопоча что-то на ломаном русском, подсунул молодухам «порнушный» журнальчик, и бабенки, похихикивая, заинтересованно зашелестели страницами. Один за другим Валька с новыми своими знакомыми перекочевали в гости к южанам. Компания там набилась порядочная: около десятка парней. Назвались они готовно не своими мудреными, а, видно, для удобства русскими именами, которые, впрочем, Валька тут же забыл. Но не стеснялся, метал в рот все, что лежало на столике, не перепускал тосты и, нагрузившись, какое-то время отупело наблюдал за тем, как кучерявый смуглолицый то ли Вася, то ли Миша исподволь придавливал в углу Катерину. Муж Виталик, смежив подбитые очи, смиренно подремывал. Любашка с кем-то уже затерялась в лабиринтах полупустого вагона.

Катерина, резким движением освободив плечи от рук ухажера, подмигнув Вальке, стала подниматься с места. Кавалер забурчал недовольно, но молодуха присела и выразительно посвистела губами. Сатюков же смылся минутой раньше и поджидал Катерину в тамбуре. Получилось как-то без слов: она прикурила, но тут же, бросив сигарету, прижалась к Вальке. Он поймал ее горячие губы, присосался жадно: эх-ма, была не была, дело холостое! Да и женатик вряд ли устоял, но вот беда – где? Не на полу же тамбура, заплыванном и грязном. В вагоне нетрудно отыскать свободное купе, жаль, вагон плацкартный. Понесет нелегкая кого-нибудь в нужник... Валька дал волюшку рукам, шарил по упруго-податливому телу Катерины, но дальше действовать не решался. «Осрамлюсь еще...» – прислушивался он к состоянию собственного организма и находил его неутешительным: сказались былые пьяночки-гуляночки. Катерина, шумно и жарко дышавшая, затихла – догадалась о Валькиных неполадках или еще что подумала.

– Ты сам-то кто? – спросила, однако из объятий высвободиться не торопилась.

Сатюков промямлил первое взбредшее на ум: не до игры в кого.

– Из вояк я... Из отставных.

– Не похож что-то. Вид у тебя не солдафонский. Женат?

– Был вроде...

– Значит, тоже не повезло... И мы, вон, с Виталиком тоже в разводе, только живем вместе. Поболтает-ся черт-те знает где, попьанствует и ползет домой, пес шелудивый. Еле живой. И выгоняла его, и била, а потом опять жалела. Сына родила уж лет через пять после свадьбы: из Виталика мужик никакой. Теперь вроде как отцом записан... Да из одной торговли ушла в другую – «челночу». Он компаньон для повады, худой ли хороший. Валька, раскиснув возле теплого бабьего бока, к рассказу попутчицы не больно и прислушивался, думая о своем... Что-то припомнилась ему давняя любовь Катька-Катюха, чем-то похожая на эту чужую женщину, нашептывающую на ухо про свое горе-печаль...

Опять зашевелились южане, тянувшие вполголоса свою заунывную песню. Прикорнувший в уголке пузатенький смуглячок проснулся, забегал по полуночному вагону, видать, в поисках попутчиц. Заметив в тамбуре Катерину с Валькой, закрутился около них, затеребил за рукава, приглашая. Откуда-то, из соседнего вагона, наверно, вывернулась сияющая, довольная Любашка с кавалером. Растолкали, подняли с пола даже Виталика. Он сел, повесивши головушку, но звяк железных кружек сразу привел его в чувство. С тостами дело не заладилось: все было высказано вначале, повыдохлись. «Абреки» пытались лопотать, путая свои и русские слова; Катерина поморщилась, вздохнула – веселье ее больше не забирало. Она подняла со столика кружку с вином, скосив глаза на Сатюкова, предложила:

– Давайте помянем тех, кого с нами нет... За усопших! Слышала от бабок на перроне, что Лазарева суббота сегодня, поминают всех.

Южане поняли, посерьезнели, зацокали языками.

– Не чокаются...

Валька, медленно вытянув содержимое кружки, в возникшем в купе молчании прикрыл глаза... Помянем!

...Старик Зерцалов умер в городском саду на другой же вечер после поездки в Лопотово. Громыхала музыка на танцплощадке, орал что-то «импортное» местные дарования, так же заморожено лепился к барьеру разношерстный народишко, а старик, стоя в потемках у вековой липы, вдруг схватился рукою за сердце и медленно сполз по шершавой коре дерева. Пока не рассвело и не подошел никто, думали – лежит какой пьяный, так и пусть себе валяется. Обо всем этом рассказывал расстроенный, чуть не плачущий Бешен, и Вальке тоже не по себе стало, он трусливо отвел глаза, чтобы не встретиться с Сашкиным осуждающе-праведным взором.

– Пойдем в церковь, помолимся за упокой души! – предложил Сашка.

Валька покорно поплелся за ним. В храме за службой стояло немного народу, без толкотни и тесноты, как в праздничный день. Бешен подвел Вальку к большой старинной иконе.

– Преподобный Григорий! – пояснил шепотом. – Покойный Василий Ефимович его наравне со своим ангелом-хранителем почитал. Затепли-ка свечечку!

Валька обжег неосторожным движением пальцы об огонек, охнул и, взглядевшись в потемневший от времени лик на иконе, отпрянул – глаза старца в черном смотрели строго и осуждающе. Сатюков, боясь еще взглянуть, попытался разобрать клейма-картинки вдоль бортика иконы: монах, водружающий крест на речном берегу, тот же чернец возле церковки, а вот какие-то воины с обнаженными мечами окружили его, стоящего с воздетыми руками... Жаль, не все можно было разобрать.

Валька, все еще в смущении, отошел, стараясь ступать неслышно, с беспокойством поискал Бешена. Сашка возле царских врат напротив иконы Богородицы стоял на коленях и клал земные поклоны. Служба, должно быть, подошла к концу: вышел с крестом батюшка, благословил всех, и Сашка первым приложился к кресту. У выхода из церкви Бешена обступили старушки, даже Вальку, попытавшегося протиснуться к нему, оттерли.

– Помолись за нас, грешных! – Сашке совали и пирожок, и пряничек, и денежку, но Бешен отказывался от даров.

– Дурак! Дают – бери, бьют – беги! – снизу, с паперти, заворчал раздраженно Ваня Дурило.

Напротив него сидел, задрав белесую бороденку и раскачивая растопыренной пятерней, Свисточек. День, видать, у убогих выдался некормный.

– Приходи, слышишь, сюда! Особенно когда худо будет, – бормотал по дороге домой Сашка. – У Григория преподобного постоишь, в беде не оставит...

Валька, представив суровый лик на иконе, зябко передернул плечами и успокоил себя тем, что заходить-то долго наверняка не придется – не понадобится. Бешена он видел в последний раз. За зиму как-то встречаться больше не приходилось, а весной, в ледоход, услышал – погиб Сашка. От церкви брели они с Дурилом и Свисточком и, как обычно, срезая путь, полезли через речку, не по мосту. Бешен шел первым; напарники его, прикуривая, задержались на берегу. Сашка ухнул в промоину, проорал, и пока Ваня с Веней бестолково бегали по берегу, течение, быстрое в этом месте, утянуло Бешена под лед. Но ходила упорно в городке и другая версия: убогие сами спихнули Сашку в полынью и потом преспокойно ждали, пока он, орущий, уйдет на дно. Дескать, завидовали тебе мы, а теперь ты нам позавидуй...

Вспомнился Сатюкову и Кукушонок, в драке заваливший насмерть ножом кавказца. Славные городковцы в ужасе притихли, ожидая массовых актов кровной мести, но ничего не последовало. Лаврушка загремел на «червонец» в тюрягу и вскоре сгинул там, а откуда-то сверху пришел грозный приказ: в техникум «инородцев» не брать! Так сошел на нет «великий эксперимент»...

...Вальку кто-то тронул за плечо.

– Выходим скоро, – сказала Катерина, попутчица.

– Давай на посошок! – заторопился Сатюков, разливая вино по кружкам.

И через полчаса он смотрел на идущих уже по перрону бывших попутчиков. Катерина с напарницей через силу волокли большущие, набитые шмотками сумки; Виталик налегке едва брел следом. Он поскользнулся, упал в растяжку, голос подал. Катерина, бросив сумки, подняла его и стала отряхивать, как маленького ребенка, поглядывая виновато и, кажется, с сожалением на прилепившего нос к оконному стеклу Вальку. Поезд тронулся, и она поспешно помахала рукой...

Сатюков просидел до своей станции, уставясь в одну точку. И в рейсовом автобусе до городка не смог он растрясти тоску; лишь в родных «палестинах», встретившись с двоюродником Серегой, без малого двадцать лет прослужившим «куском» в армии и выкинутым за ненадобностью по сокращению, удалось

слегка развеяться. Братаны пошли по «веселеньким» местам: проще – притонам, коих в городке, наполовину безработном, развелось немало и где, ежели имеешь денежку, тебя всегда встретят и приветят. Выпитое что-то плохо «забирало» проспиртованный за последние годы Валькин организм, тяжелило только, давило нехорошим предчувствием на сердце. Перед глазами часто вставали попутчица Катерина и вцепившийся ей в рукав молоденький сожитель.

«Тормознулись» друзья-приятели на квартирке у одного бывшего зека; на огонек и тройка бабенок заглянула. Бабы такие обрюзгшие и опустившиеся, что выпить-то с ними еще можно, но чтоб дальше чего – сам побоишься... Незнакомая и, значит, не местная тоже была с ними одного поля ягода, но маленько посвежее, и у Вальки вроде интереса к ней шевельнулось:

– Откуда ты?

– Из райцентра.

Сатюков, конечно же, сразу поинтересовался, не знает ли она Катьку Солину.

– Эту-то стервозу?! – бабенка вдруг торжествующе-злорадно расхохоталась. – Знала. Вчерась, в Лазареву субботу, от водки травленной издохла.

– Врешь?!

– Соседка ейная говорила, не даст соврать... Закапывать собирались.

У Вальки перехватило горло: где-то в дороге он сидел и пил, сначала дурачась, а потом и за помин душ усопших, и не ведал, что Катька в это время крутилась, орала от разгоравшегося внутри утробы огня и под утро испустила дух. Сатюков, сжав голову руками, забился в крохотную кухоньку, сдавленное его горло пробили рыдания, и он заревел в голос.

– Катька-а...

Кто-то подходил, бормотал что-то, пытаясь утешить, гладил по плечам, кто-то хмыкал недоуменно:

– Нашел, придурок, из-за кого расстраиваться?! Из-за проститутки! Да ее все мужики в городе...

Утром, едва рассвело, Валька, пошатываясь, побрел в церковь. Накануне праздновали вербное воскресенье, и ветки вербы с распускавшимися мохнатыми шишками, покропленные святой водой, были повсюду. В храме безлюдье, стыла тишина. Сатюков, взяв на оставшиеся гроши свечечку, затеплил ее перед иконой преподобного Григория и из последних сил стоял перед ней – оборванный, грязный, чуть живой. Но никто не выгонял его прочь. Глаза с иконы смотрели теперь, утешая, с сочувствием и теплотой.



Владимир ШАТРОВ



Личное дело сержанта Бессарабова

Рассказ

Продолжение. Начало в №11.

2 Узник

Проходя по мощёным немецким улочкам, младший сержант Бессарабов чувствовал себя крайне неудобно. Причём моральных мучений не было. Несмотря на то что «командирские» показывали четыре часа утра, а пять десятков выпускников 118-го учебного танкового полка, приученные ходить строем даже в туалет, производили изрядный шум – не было – и всё! Младший сержант Бессарабов (он же Румын), считая в глубине души, что немцы должны русским, как земля – колхозу, сожалел о том, что Группа Советских войск в Германии давно утратила статус оккупационной армии. По мере сил Румын с этой утратой боролся. Раздобывший на сержантских харчах и накачавший от безделья мышцы, он, проходя по любому городку или посёлку ГДР, старался задеть плечом какого-нибудь немца или поймать на себе чей-то косой взгляд, подыскивая повод для конфликта.

Однако немец нынче пошёл не тот. Поиски Бессарабова крайне редко увенчивались успехом. «Гансы» обходили его стороной, уклонялись, а то и вовсе заранее перебирались на другую сторону улицы. Но уж если удавалось с кем-нибудь сцепиться, Румын радостно терял человеческий облик и, прекрасно зная немецкий язык, немедленно переходил на отборный русский мат и кидался в драку с криком: «Я тебе, сволочь, сейчас устрою Сталинград! Ты мне, гад, ещё за Гитлера ответишь!» Прекрасно зная слова «Сталинград» и «Гитлер», побитые местные жители на Бессарабова ни в полицию ГДР, ни в советскую комендатуру не жаловались. Поколотив очередного немца, Румын на неделю заряжался хорошим настроением и даже терпимостью к Германии. Только дважды исход поединка не оправдал надежд представителя победившей армии. В первый раз с уже поверженного противника его буквально стащил патруль комендатуры. Но, выслушав сказку Румына о том, что недобитый фашист плюнул ему под ноги, старший патруля лишь слегка пожурил патриотично настроенного младшего сержанта и зло погрозил кулаком совершенно обалдевшему от такой развязки немцу.

Во второй раз всё было значительно печальней. Сублинный, интеллигентного вида «ганс» встретил Бессарабова хлестким боковым ударом в ухо. Удар был такой силы, что у Румына ещё сутки голова гудела, как церковный колокол, а ухо целую неделю светилось в темноте. Выбравшись из цветочной клумбы, куда его занесла потерявшая притяжение планета, младший сержант начал доставать из сапог обломки розового куста, стряхивать с обмундирования землю и вытаскивать застрявшие в теле шипы, бормоча под нос: «Надо же, какой эсэсовец попался. А ещё очки надел!»

Итак, во время прохождения по спящему Виттенбергу Румын мучился не морально, а физически. Его шикарные, отглаженные с воском юфтевые сапоги были подбиты подковками, сделанными из рабочей поверхности напильника. А потому при каждом ударе каблука о булыжник из-под подошвы вылетал целый сноп искр – и это было хорошо. Но при этом сапоги нещадно скользили по так называемым «буханкам» – камням, из которых собственно и состоит немецкая мостовая. И это было плохо. Младший сержант Бессарабов шёл, как корова по льду, постоянно теряя равновесие. Больше всего он боялся растянуться во весь рост на глазах пятидесяти солдат, из которых около десятка составляли его бывшие курсанты. Уже три раза, для того чтобы не упасть, Румын в отчаянии хватался руками за идущего рядом рядового Семенкова – тоже своего бывшего подчинённого.

– Вы бы завязывали шнапс керосинить, товарищ сержант, – по привычке обращаясь на «вы», не выдержал наконец Семенков. – До эпилепсии ведь допьётесь.

– Сёма, при чём тут шнапс? Проклятые подковки скользят, как коньки, – признался Бессарабов.

– Так вытащите их из каблуков!

– Чем? Зубами? Я с собой плоскогубцы не ношу.

– Сковырните их бляхой ремня, – проявил солдатскую смекалку Семенков.

– Не хочу! – отрезал Румын. – Боюсь бляху поцарапать, она покрыта бесцветным лаком.

– Зачем? – изумился Семенков.

– Чтоб не окислялась и чтоб не надо было начищать, – пояснил Румын, в очередной раз поскользнувшись и хватаясь руками за собеседника.

Терпение Семенкова лопнуло, и, расстегнув армейский ремень, он попросил Бессарабова снять сапоги. Румын, присев на бордюр, разулся и передал сапоги рядовому. Поддев бляхой ремня сначала одну подкову, затем – другую, Семенков за пять секунд выдернул обе.

– Ну вот, теперь и искр не будет, а то ещё город сожжёте, – возвращая сапоги, пошутил бывший курсант и добавил: – Господи, хоть бы в один экипаж с вами не попасть! Надоели за последние полгода, хуже фюрера.

– Спасибо... – обуваюсь, буркнул себе под нос младший сержант.
 – За что? За то, что надоели?
 – За подковы, идиот! – выдавил из себя Румын.
 – Сложный вы человек, товарищ сержант, – пожав плечами, произнёс Семенков. – Ваше «спасибо» от «иди на хрен» по тону не отличишь.

Закончив разговор, Семенков развернулся почти по-строевому и побежал догонять колонну. Встав и потопав для верности сапогами, быстрым шагом за ушедшими вперёд солдатами отправился и Румын. Бежать не позволяли погоны на плечах и год службы за спиной...

Как узнал впоследствии Володя Бессарабов, путь от железнодорожного вокзала, где прошедший по вагонам старший лейтенант вызвал по списку пятьдесят человек, до воинской части был равен семи автобусным остановкам. Весь этот путь колонна честно прошла пешком. Виттенберг младшему сержанту понравился. Во-первых, это была первая остановка после «учебки», а значит, город находился в центре ГДР, недалеко от привычных мест. Во-вторых, старинный готический центр и новостройки на окраинах оставляли хорошее впечатление. В-третьих, сам город был довольно большим, чем выгодно отличался от изученных вдоль и поперёк Йютербога и Луккенвальде, в которых Бессарабова уже знала каждая собака.

Наконец у последних девятиэтажных домов показались железные ворота с нарисованными на них красными звёздами и стилизованными изображениями танков. Опытный взгляд Румына моментально отметил ближайший продовольственный магазин и двухэтажное здание с надписью «Café Freundschaft». Вспомнив трёхкилометровую лесную тропинку, ведущую от родного учебного полка до ближайшего немецкого посёлка, младший сержант Бессарабов даже присвистнул от удовольствия и невольно произнёс вслух: «А это меня удачно сослали!»

Знакомство с новым местом службы началось с бани. Румына всегда поражала эта армейская традиция – сначала всех помыть, а дальше – хоть трава не расти. В первый же день службы, когда триста призывников из Кишинёва привезли в молдавский город Бельцы, где они должны были дожидаться отправки в Германию, Володя Бессарабов посетил армейскую баню. Точнее, посетили все три сотни – конечно, не одновременно, а группами по тридцать человек. Правда, потом не видели горячей воды дней десять и встали под душ только перед отлетом в ГДР. Зато в этот же день, попав в учебный танковый полк, ещё раз искупались.

На этот раз баня Румыну была явно нужна. В уходящий поезд в последний момент его впихнул караул полковой гауптвахты, таким своеобразным образом амнистировав младшего сержанта после десятидневного заточения.

Банно-прачечный комплекс поразил неряшливым видом, отсутствием ремонта и полным запустением. Банщик высыпал перед прибывшими прямо на пол три десятка обмылков «Солдатского» и, прохрипев: «Разбирайтесь сами», – ушёл в каптёрку досыпать.

После бани тот же старший лейтенант, который сопровождал солдат от железнодорожного вокзала до части, вывел их на плац и приказал ждать. Бывшие курсанты сгрудились в кучу около урны на краю плаца и устроили перекур. Румын у ближайшего дерева бросил на землю вещмешок и сел на него, удобно прислонившись спиной к стволу. Вскоре стрелки на «командирских» выстроились в прямую линию, показав шесть часов утра, и воинская часть ожила. Во всех казармах дневальные заорали «Подъём!» – и буквально через минуту земля задрожала от топота тысячи пар ног, несущих своих владельцев на утреннюю зарядку.

Ещё через полчаса к старшему лейтенанту, держащему в руках пять десятков личных дел, подошёл какой-то майор. Румын невольно услышал обрывок разговора, произошедшего между ними. Майор возмущённо спрашивал старлея: «Ну и из кого тут выбирать? Нагнали бухенвальдских узников. Их в «учебке» совсем не кормят? А что за наглая, сытая рожа сидит под деревом? Год отслужил? А я – двадцать пять! Так что, мне теперь улечься на газончик?»

– Эй, рыло! Ну-ка, подними свою «сижу» с мешочка!
 – Младший сержант Бессарабов, – понимая, что обращаются к нему, вскочил и отрапортовал Румын.
 – Бессарабов? Татарин? – поинтересовался майор.
 – Никак нет, товарищ майор, я из Молдавии.
 – Слушай, пупец, ты мне не хами, – прорычал майор. – Если я сказал «татарин», значит, татарин! Скажи спасибо за то, что не негр.
 – Спасибо, товарищ майор, а то в «учебке» достали: «Румын» да «Румын», – согласился Бессарабов.
 – Румын? – задумчиво произнёс майор – А что, «Румын» даже лучше, потому что обидней. Так какого банана ты уселся, сиротка? Ножки болят?
 – Никак нет, товарищ майор. Я абсолютно здоров.
 – То, что ты здоров, – назидательно промолвил майор, – не твоя заслуга, а недоработка Советской армии. Но я тебе гарантирую, что через полгода у тебя будут геморрой, язва желудка и ампутация всех конечностей. Добро пожаловать в третий батальон.

После этой приветственной речи майор повернулся к старшему лейтенанту.

– Я забираю Бессарабова и ещё пучок дистрофиков.

– Пучок – это сколько? – поинтересовался «старлей».

– Это ещё полтора десятка, – уточнил майор. – Давай пятнадцать верхних личных дел. Кто попадётся – того и возьму. Они всё равно все как от одной мамы.

– А куда девать остальных?

– Отведи половину в первый батальон и половину – во второй. Такое счастье надо делить поровну...

Забрав у старшего лейтенанта стопку папок, майор стал открывать их по очереди и выкрикивать фамилии солдат, причём безбожно их коверкая, видимо, специально. Ситуация напоминала фильм о торговле рабами, правда, там обходились даже без фамилий. Но вселенская тоска и невероятная усталость, которая сквозила в глазах бывших курсантов, была сродни негритянской. Свои шестнадцать человек майор построил их в колонну по двое и, предупредив, что надо следовать за ним, отдал команду: «Шагом марш!» Пройдя метров двадцать, майор остановил колонну, словно что-то вспомнив.

– Румын, а что ты целый год делал в «учебке»? – состроив заинтересованное лицо, спросил майор.

– Ты что, двоечник и второгодник?

– Никак нет, товарищ майор. Полгода я учился, а затем полгода учил других...

– А потом? – поторопил майор.

– А потом меня выгнали, – признался Бессарабов.

– Ага! – с облегчением вздохнул майор. – Ну это нормально. Это бывает.

Колонна пошла дальше...

В расположении батальона было пусто. Весь личный состав после утренней зарядки ушёл на завтрак. Позавтракав, все отправляются либо на работу, либо на учёбу, либо в танковый парк к своим машинам, так что до обеда казарма, как правило, пустует. Вошедшего комбата встретил дневальный диким воплем: «Батальон, смирно!» Бывшие курсанты, идущие за майором, побросав на пол рюкзаки, автоматически застыли, зафиксировав руки по швам.

– Ну и чего ты орёшь, как потерпевший, Антоненко? – недовольно буркнул майор. – Никого же нет. Мог бы и потише...

– Генка? Антоненко? – воскликнул Бессарабов, узнав старого товарища, с которым они вместе были курсантами в «учебке».

– Румын... – расплылся в улыбке Антоненко.

– Боже мой, радость-то какая, – вытирая рукавом воображаемые слёзы, произнёс комбат. – Брат встретил брата. Ну вы тут обнимайтесь, а я пойду в канцелярию плакать от переживаний. Когда нацелуетесь, Антоненко, найдешь мне прапорщика Исаева – Штирлица нашего ненаглядного...

Продолжая притворно всхлипывать, майор пошёл в сторону канцелярии, бормоча под нос: «Сподобил господь встречу такую счастливую лицезреть...».

– А комбат ваш вроде ничего – нормальный мужик, с юмором – пожимая руку другу Генке, заявил Бессарабов.

– Его фамилия Богданов, такого командира врагу не пожелаешь, – сказал как отрезал Антоненко.

– Это почему? – попытался уточнить Румын.

– Пьёт.

– А кто не пьёт? Ты чего, Гена? – возмутился Бессарабов.

– Да, пьют все. Только когда выпивает Богданов – голова болит у всего батальона, – уточнил старый друг. – Слушай, постой «на тумбочке», я пойду прапора Исаева найду, он вроде в каптёрке был.

Через несколько минут найденный спящим в каптёрке прапорщик Исаев, получив указание майора, выдал прибывшим консервные банки с кашей, галеты и ложки. Поедая холодную рисовую кашу с мясом, заменившую завтрак, Румын узнавал от Антоненко всю необходимую информацию о новом месте службы. Порадовало прежде всего то, что кроме Генки в батальоне служили ещё трое друзей по учебному взводу: туркмен Нарбай Саюнов, казах Дин-Мухамед Садыков и Борис Борисов из города, естественно, Борисов. Батальон жил дружно, междоусобицы случались редко, «дедовщина» была в зачаточном состоянии, землячества между собой не воевали, противостоя общему врагу – комбату. Печалило то, что в этом противостоянии всегда побеждал комбат.

Едва успели закончить своеобразный «завтрак», как из-за двери канцелярии раздался рык майора Богданова: «Антоненко, заводи военнопленных по одному! Румына – последним!»

Процесс распределения по экипажам начался. Выходившие после общения с комбатом солдаты некоторое время ошалело крутили головами, моргали глазами и прерывисто дышали, затем сообщали прапорщику Исаеву номер своего танка, и «Штирлиц» чуть ли не за руку отводил их в нужный кубрик. Когда перед дверями осталось всего несколько «военнопленных», в казарму забежал запыхавшийся капитан, и отмахнувшись от вопля Антоненко: «Дежурный по батальону, на выход!», – скрылся в канцелярии. «Наш замполит. В общем, безобидный мужик», – пояснил Генка.

Наконец настала очередь Румына. С непонятным самому себе содроганием младший сержант Бессарабов постучал в дверь и, слегка приоткрыв, произнёс: «Разрешите?». После этого вошел и представился. Далее инициативу в разговоре перехватил комбат.

– Ну что, жиртрест, ты уже понял, куда попал? – начал майор мягко и задушевно. – Сегодня утром на рюкзаке ты сидел последний раз в своей жизни. В моём батальоне ты вообще сидеть не будешь. Ты всегда будешь бегать, в крайнем случае, стоять. Так и помрёшь – стоя, а твои похудевшие останки я лично отвезу в Молдавию. Я там, кстати, никогда не был, заодно и посмотрю, что там и как. Чего молчишь?

– Так точно... – выдавил из себя Румын.

– Ну вот и ладненько, – продолжал комбат. – Сейчас примешь под своё командование 592-й танк. Там наводчиком хохол-западенец, а механиком – узбек. Для полного комплекта только румына и не хватало. Теперь, в случае чего, будет кого головной машиной на минное поле послать. Такой интернационал не жалко...

– Одну минуточку, – прервал вдруг напутственную речь комбата сидевший до сих пор молча и копавшийся в документах замполит. – Товарищ майор, вы его личное дело читали?

Не дожидаясь ответа, капитан удивлённо воззрился на Бессарабова и задал ряд вопросов.

– Сынок, поясни-ка нам эту строчку: «Отстранён от командирской должности за половые извращения». Это каким же членовредительством ты в учебном полку занимался, что тебе такое написали? Ты, младший сержант, – не могу даже назвать тебя «товарищем» – не из меньшинств ли будешь?

– Никак нет, товарищ капитан, я потомственный большевик. Просто меня с немкой застукали, – дал необходимые пояснения Румын.

– Проверить бы надо... – повернувшись к комбату, задумчиво произнёс замполит и вдруг удивлённо замолчал.

Майор Богданов, закрыв лицо руками, молча, трясся от смеха. Наконец, смех всё-таки победил, и комбат захрюкал. Даже не захохотал, а именно захрюкал, причём без остановки. Как узнал впоследствии Бессарабов, по-другому смеяться Богданов просто не умел. Через минуту, неожиданно прекратив хрюкать и вытерев ладонью выступившие слёзы, комбат хриплым голосом вернулся к разговору.

– Ничего проверять не надо. Он не врёт, я у его бывших курсантов спрашивал, – сказал майор, обращаясь к замполиту. – Да и как ты проверишь? Свою голую задницу ему покажешь?

– Теперь что касается тебя, каторжник, – продолжил комбат, повернувшись к младшему сержанту. – Ты про большевиков ничего не говорил, а мы с капитаном не слышали. И ещё. Начиная с этого дня, немок ты будешь видеть только в эсэсовской форме – и то лишь во время просмотров фильмов про войну в солдатском клубе. А половыми извращениями будешь заниматься исключительно с собственной шинелью, по моей команде и под моим присмотром. Если вопросов нет, исчезни с глаз моих, Казанова.

Выйдя за дверь канцелярии, Бессарабов остановился в тесном «предбаннике» и устало прислонился спиной к дверному косяку, чтобы перевести дух. Не подслушивая специально, он всё-таки услышал продолжение разговора.

– А может быть его на всякий случай в полигонную роту сослать? От греха подальше, – выступил с предложением замполит.

– За что? – поинтересовался комбат – За немку? Он за это уже получил. Там в личном деле десять суток гауптвахты чёрным по белому. Совсем они офонарели в 118-м полку, десять суток даже командующий Группой войск впасть не имеет права. Да к тому же, если за одну и ту же фрау можно было бы дважды наказывать, то в нашем полку, например, половина молодых прапорщиков и лейтенантов уже были бы рядовыми. А прапорщика Исаева, наверное, давно бы расстреляли... Слышал, как во время вчерашнего контрольного обхода дежурный по полку из его комнаты в общежитии сразу двух немок выволок? Чего он с ними с двумя одновременно делал? Он что – мутант?

– Вот я и говорю, – вновь подключился к разговору замполит. – Мало нам своих маньяков. Давай хоть этого на полигоне спрячем.

– Нет! – опять не согласился майор. – У тебя в руках его личное дело. Открой его и посмотри на результаты боевых стрельб. Там только за самую первую стрельбу – неуд, но это нормально. Ты свою первую стрельбу вспомни. Зато все остальные у него проведены на отлично, а их немало. И дневные, и ночные, и во всех аварийных режимах. Не оставили бы дурака в инструкторах. У нас половина дембелей хуже стреляет, а ему ещё год служить... В общем, я так решил: если на первых же стрельбах он облагается – останется на полигоне. А если докажет, что он такой Робин Гуд, я ему третью лычку повешу и лично позвоню в «учебку», чтобы сообщить его бывшим командирам о том, что они все чудаки на букву «м» и пусть таких «извращенцев» присылают побольше. А мне всё равно – пускай хоть с Евой Браун спит...

Стараясь не топтать сапогами, Бессарабов вышел из «предбанника» в коридор и доложил прапорщику Исаеву о том, что назначен командиром 592-го танка.

Новое жилище Румыну понравилось. После казармы в учебном полку, где в одном «расположении» умещалось тридцать курсантов и три сержанта, а за крупноячейстой деревянной решёткой, разделяющей комнату пополам, – ещё тридцать три человека, кубрик на десятерых показался отдельной кварти-

рой. Кровати стояли в один ряд, к каждой примыкали тумбочка и табуретка, у стены сиротливо возвышался шкаф с висящими в нём шинелями и лежащими на полках противогазами. Середина комнаты была настолько пуста, что на свободном месте можно было бы поместить концертный рояль и ещё осталось бы место для пяти пар танцующих.

Расправив свою шинель, которая до этого момента была свёрнута в «скатку», Бессарабов повесил её в шкаф так, чтобы нарукавная нашивка с изображённым на ней танком составила прямую линию с остальными. Потом подошёл к кровати, снабжённой табличкой «К.Т.592» и, придиричиво её осмотрев, остался доволен. Затем, сложив в тумбочку «шильно-мыльные» принадлежности и привязав опустевший вещмешок к сетке под кроватью, отправился искать друга Генку.

Сменившийся «с тумбочки» Антоненко стоял в туалете, опираясь на швабру и задумчиво глядя в пол.

– Как думаешь, мыть или не мыть? – почти шекспировским вопросом встретил он Бессарабова.

– Я думаю, не надо! – развеял сомнения друга Румын и в свою очередь спросил: – Слушай, а что такое «полигонная рота»?

Швабра упала из рук Генки, издав при этом какой-то погребальный звон.

– Тебя что, туда отправляют? – почему-то шёпотом поинтересовался Антоненко.

– Пока нет. Но если плохо отстреляю на первых же учениях – отправят.

– Ну, тогда всё в порядке. Как ты стреляешь, я помню. А про «полигонку» лучше забудь, как про страшный сон. Это сводная рота от трёх танковых полков, что ни солдат – то личность: воры, пьяницы, дебоширы, а также «самовольщики» и «беспредельщики». Всего десять экипажей. Обеспечивают занятия по вождению и боевые стрельбы. Днём обслуживают свои танки, сколачивают мишени, очищают полигон от «болванок». Ночью охраняют учебные классы и подъёмники мишеней, чтобы такие же ухари с соседнего полигона чего-нибудь не уволокли. Живут в каких-то «крысятниках», чего едят и пьют – вообще не понятно. Попасть туда не сложно, а вот выбраться обратно в часть... Такого на моей памяти ещё не было.

– Спасибо за информацию, я пошёл обратно в кубрик. А пол всё-таки помой, товарищ солдат, – пошутил Бессарабов уже на ходу.

– Румын, подожди! – окликнул уходящего товарища Антоненко. – Ты вот что... Здесь, понимаешь, не «учебка». Это там сержант – царь и бог, а тут каждый третий лычки носит. Своему призыву и молодым можешь говорить хоть «товарищ солдат», хоть «дерьмо на палочке», стариков называй или по прозвищам (если они не обидные) или по именам, «дембелей» – только по именам, не то морду набьют и на погоны не посмотрят. В твоём экипаже наводчиком служит Васька Лычманюк из Львова, с ним всё просто, он нашего призыва, кличка – Бандера. А вот с механиком сложнее. Он – узбек по прозвищу «Батыр», «дембель», более того, один из самых ярых борцов за права старослужащих. Когда он был «молодым», узбеков, казахов, таджиков и прочих «тюбетеек» в Германию почти не набирали, так что горя он хапнул полной ложкой. Было много «стариков» – литовцев, и помучили они его здорово, а теперь молодые литовцы за их грехи отвечают. Но ты, слава богу, не литовец. Потерпишь его недели три, максимум месяц, а потом он демобилизуется. Зовут его Шавкат Батыров. Запомнишь?

– Запомню, – кивнул Румын. – Спасибо, Генка.

Когда до обеда оставалось полчаса, дверь кубрика, где сидел Румын, распахнулась и в помещение ввалились танкисты. Первым зашёл смуглый парень лет двадцати, явно восточного типа. Криво улынувшись и блеснув при этом золотыми коронками, он остановился в проходе у кровати Бессарабова и начал разговор.

– Ну и чего ты расселся, «молодой»?

– Я не «молодой», – вставая, сказал Румын и с достоинством добавил: – Я – «черпак»!

– Как «черпак», откуда «черпак»? – приподнял брови смуглый. – Сказали, «молодых» из «учебки» пригнали.

– Долгая история, – вздохнул Бессарабов и, заметив среди вошедших знакомое лицо, улыбнулся: – Здорово, Нарбай!

– Румын! – подключился к разговору младший сержант, тоже явный выходец с востока. – Ты откуда здесь? Выперли за пьянку?

Повернувшись к золотозубому рядовому, Нарбай Саюнов (а это, на счастье, был он) сказал: «Всё в порядке, Шавкат! Он действительно «черпак». Мы вместе курсантами были». Затем подошёл к Румыну и крепко пожал руку.

После того, как он поприветствовал старого друга, Румын опять повернулся к Батырову и продолжил разговор.

– Младший сержант Бессарабов. Назначен командиром 592-го танка, – представился он.

– Бессарабов? – радостно переспросил Шавкат. – Литовец?!

– Нет. Я из Молдавии.

– Это рядом с Литвой? – уточнил слегка погрузневший Батыров, которому в родном ауле географию явно не преподавали.

– Это на таком же расстоянии от Литвы, как и Узбекистан, только в другом направлении, – добил собеседника Румын.

– Шавкат, механик-водитель 592-го, – представился наконец окончательно заскучавший Батыров и добавил: – Шавкат! Советую запомнить...

Остаток дня прошёл спокойно. Перед отбоем Румын постирал своё х/б, дабы смыть с него пыль до-рог и запах гауптвахты, повесил форму в сушилку и вернулся в кубрик в трусах, майке и казарменных тапочках. Первый взвод девятой роты в полном составе находился в комнате и готовился ко сну. Кто-то подшивал белым материалом воротник х/б, кто-то перечитывал письмо из дома. Батыров и второй «дембель» Александр со странной фамилией Цирюльник и не менее странным прозвищем «Цивильный» занимались дембельскими альбомами. Кроме уже упоминавшихся Бандеры, Нарбая, Батыра, Цивильного и самого Румына, в кубрике жили ещё пять человек. Из них двое – из экипажа командира роты (из-за них, собственно, население комнаты и составляло десять человек, тогда как в остальных двух взводах было восемь коек). И так, экипаж комроты состоял из старослужащего механика Алексея Гусинского по прозвищу, естественно, «Гусь» и только что прибывшего из «учебки» худого, как спичка младшего сержанта Шнейдера, который заявил, что он поволжский немец, но, несмотря на это, тут же получил кличку «Гетто». Кроме того, были два литовца из экипажа Нарбая Саюнова: механик и наводчик. Этим всё отличие и ограничивалось. В остальном ребята были абсолютно одинаковыми: блондины с арийскими лицевыми углами, внешне похожие, как родные братья, несмотря на разницу в возрасте, оба отслужившие по году. Одного звали Вальдас Влацлович Петкявичус, другого – Вальдас Антанович Станкявичус. О них никогда не говорили по отдельности, всегда спрашивали: «Где Вальдосы, кто видел Вальдосов?» – причём с ударением в именах на втором слоге. И, наконец, десятым жильцом кубрика был только что окончивший «учебку» уроженец российской глубинки рядовой Лобок, получивший при зачислении в батальон от комбата абсолютно неприличную кличку. Воистину, собрать такой сброд под одной крышей могла только Советская армия.

Едва Бессарабов, усевшись на табурет, устало вздохнул, как в коридоре раздался крик дневального, означавший, что пришёл комбат: «Батальон, смирно!». Вслед за этим стали слышны вопли самого майора: «Я вам устрою Мозамбик! Я вам покажу, что такое Ангола! Вы у меня пожалеете, что не в Кампучии родились!».

Вальдосы, до этого тихо сидевшие на своих койках в закутке за вешалкой, одновременно переглянулись и со словами: «Богданов опять залил сливу!» – полезли под кровати. Румын от удивления широко открыл рот. А комбат продолжал бушевать в коридоре. Сквозь топот сотни ног и шум ожившего батальона доносились названия стран, в которые ни один нормальный человек не поедет, даже если вместе с путёвкой ему дадут мешок денег. Упомянув все Нигерию, Чад, Конго, Вьетнам и Сомали, майор прекратил виртуальное вращение глобуса и возопил: «Батальон, пожар!». За спиной Бессарабова с треском распахнул окно Цивильный и выпрыгнул на улицу. Следом, как горох, посыпались все остальные, кроме затаившихся Вальдосов. Последним покинул помещение Бандера, крикнув в полёте: «Румын, тикай або ховайся!» Стадное чувство овладело Бессарабовым, и он, схватив в руки тапочки, последовал за своим взводом. Оказавшись на улице, он обулся и, почему-то пригибаясь, отбежал от окна. Смешавшись с толпой однополчан, Румын перевёл дух и затравленно оглянулся вокруг.

Полная, похожая на блин луна и несколько уличных фонарей совместными усилиями освещали какую-то нереальную картину: на площадке перед казармой столпились две сотни солдат и сержантов срочной службы, а поскольку никто никем не командовал, сборище напоминало скорее цыганский табор, чем боевое подразделение.

В стоящем неподалеку пятиэтажном доме женского общежития, где обитали незамужние военнослужащие и вольнонаёмные дамы, которое почему-то окрестили «Бухенвальдом», стали открываться окна и послышался смех. Наконец какая-то девушка, которая, как узнал впоследствии Румын, работала в полковой библиотеке, уселась на подоконник в позе булгаковской Маргариты и, придерживая подол ночной рубашки, поинтересовалась: «Богдановцы, у вас что – опять пожар? Когда этот цирк прекратится?». Понимая, что в раздуваемой на ветру майке и армейских трусах, которые полощут, как стакселя на бригантине, он выглядит смешно, Бессарабов перебрался в передние ряды – подальше от общежития, поближе к батальону, о чём сразу же пожалел. По дороге вдоль казармы проходила смуглая красавица в форменной юбке, хромовых сапожках и кителе, украшенном погонами прапорщика. Прямо перед ней из строя и вывалился Румын в своём «дезабиле». Девушка остановилась, едва не налетев на него, и залиvisto расхохоталась. Отсмеявшись, она поинтересовалась: «Это что за Аполлон у нас нарисовался?». Окончательно ошалев от всего происходящего, Румын вытянулся по стойке «смирно», выпятил грудь, втянул живот и представился по-уставному: «Младший сержант Бессарабов!», – при этом слегка прищёлкнув босыми пятками, чем вызвал у незнакомки новый приступ смеха. Перестав смеяться, девушка представилась в свою очередь: «Меня зовут Алия, я в офицерском кафе работаю. Заходи как-нибудь, кофе угощу. Только в штанах приходи, стриптизёр!» Произнеся последнюю фразу, девушка неожиданно ущипнула Румына за зад и, опять рассмеявшись, пошла в сторону «Бухенвальда», нарочито покачивая

бёдрами. Растеряно глядя ей вслед, Бессарабов слышал гоготание своих новых сослуживцев и чувствовал одобрительные удары по плечам.

Тем временем пробило десять часов вечера. Румын сделал это логическое заключение, услышав крик дневального: «Батальон, отбой!». Дневальный стоял «на тумбочке» напротив входа в оружейную комнату, а потому покинуть свой пост не мог ни при каких обстоятельствах и, вследствие этого, участия в общем веселье не принимал. Команда в данном случае была просто данью традиции, спать явно никто не собирался.

Одновременно с криком дневального из покинутой взводом Бессарабова комнаты раздались дикие вопли Вальдосов, которых под их кроватями разыскал комбат. Судя по воплям, майор Богданов трепал литовцев, как бульдог двух загнанных в угол котов. Наконец Вальдосам удалось вырваться, и они выпрыгнули в окно. Вслед за ними, один за другим, вылетели сапоги Румына, запущенные сильной, но явно нетрезвой рукой. Первый сапог пролетел мимо цели, второй точно попал каблуком в голову одному из литовцев. Бессарабов мысленно ещё раз поблагодарил рядового Семенкова за то, что он снял с сапог подковки.

После изгнания Вальдосов в расположении батальона наступила долгожданная тишина. Личный состав подразделения маялся на улице, переминаясь с ноги на ногу. Наконец на пороге казармы появился комбат. Окинув стоящую перед ним толпу удивлённым взглядом, он прорычал: «Это ещё что за митинг пацифистов и примкнувших к ним «голубых»? Вас что, команда «Отбой» не касается? Всем спать!». Произнеся эту сложную фразу, майор Богданов пошёл в сторону КПП, слегка пошатываясь. Толпа с недовольным гулом стала втягиваться в двери казармы.

Бессарабов, подобрав свои сапоги, подошёл за разъяснениями к Антоненко.

– Что это было, Генка?

– Я же тебе говорил, – нехотя пояснил Антоненко, – пьёт...

– Это я помню, – кивнул головой Румын – Но так?!

– Только так и никак иначе. Ты привыкай, – посоветовал старый друг.

Лежа в своей кровати, Румын прокручивал в голове события этого дня и вдруг понял, что тоскует по родной «учебке», где время шло размеренно и всё подчинялось уставу, а почти единственным нарушителем установленного порядка был он сам. Более всего поражало то, что за весь сегодняшний день никто не поинтересовался, чем занимается младший сержант Бессарабов и есть ли он в полку вообще. В учебном подразделении Румына время от времени пересчитывали, и это ему нравилось, он чувствовал себя защищённым. Бывало, не успеешь проснуться, а уже звучит команда: «Строиться на утреннюю поверку!» После завтрака посчитают вновь, после обеда ещё раз, а перед отбоем – вечерняя поверка и пересчёт строго по списку. Но и это ещё не всё. Случалось, Бессарабов просыпался ночью из-за того, что кто-то бродил по проходам между кроватями и, убедившись в том, что это дежурный офицер пересчитывает спящих по головам, засыпал вновь, облегчённо вздыхая: «Я здесь. Меня посчитали. Всё в порядке».

В новой части, похоже, всем было всё равно – сбежал Румын в «самоволку» или ещё нет, а потому бежать совсем не хотелось. Задумавшись над этим странным фактом, Бессарабов сам не заметил, как заснул...

Проснувшись от вопля дневального: «Батальон, подъём!», – Румын пружинисто вскочил с кровати. В кубрике командиры танков будили свои экипажи. Бессарабов тут же принял участие в общем процессе. Подойдя к кровати Лычманюка, он воскликнул: «Бандера, подъем! Слава Украине!». «Героям – слава!» – автоматически ответил на старое приветствие украинских националистов Бандера и вскочил, выпучив глаза. Тем временем Румын повернулся к кровати механика и открыл рот для того, чтобы подать команду, да так и застыл. Он вдруг понял, что из-за всех переживаний вчерашнего дня забыл имя своего механика. Казалось бы, можно было выйти из создавшегося положения, слегка тряхнув спящего Батырова за плечо, но и этого делать было нельзя – трогать дембеля следовало только во имя спасения его драгоценной жизни. Бессарабов вспомнил ритуал перевода солдат срочной службы в новую касту. Для того чтобы «молодой» стал «черпаком», его двенадцать раз били по «пятой точке» тяжелым поварским черпаком. «Черпака» переводили в «старики», восемнадцать раз несильно ударяя ремнем по тому же месту. «Старики» переходили в «дембеля», комфортно лёжа на кровати лицом вниз, на ягодицы им клали подушку и уже по этой подушке хлестали ниткой двадцать четыре раза, и то – вполсилы, чтобы не побеспокоить.

Пока эти воспоминания проносились в голове Бессарабова, в кубрике повисла напряжённая тишина. Похоже, все догадались, в какое тяжёлое положение попал Румын, но подсказывать никто не спешил. Сам Батыров, скорее всего, тоже не спал, но продолжал лежать на кровати с закрытыми глазами, выжидая, чем всё закончится.

И тут Бессарабова осенило, ему показалось, что он вспомнил имя, и он радостно воскликнул: «Джавдет, вставай!».

Батыров вскочил с кровати с воплем: «Я – Шавкат! Шавкат меня зовут! Понял, тупой Румын?», – после чего длинно выругался по-узбекски, но это, увы, не помогло. Всё население комнаты валялось на

полу от смеха. Дико вращая глазами и продолжая ругаться на родном языке, Батыров схватил полотенце, мыло, зубную пасту и щётку и вышел из кубрика, громко хлопнув дверью.

Дальнейшую службу Батыра сделали невыносимой два фактора. Первый – это то, что новости по батальону распространялись очень быстро и уже в обед весь личный состав знал, что Румын окрестил своего механика Джавдетом. Второй – это то, что в солдатском клубе часто показывали фильм «Белое солнце пустыни», в котором упоминается одноимённый персонаж. Фильм давно растащили на цитаты и теперь каждую фразу, имеющую отношение к Джавдету, использовали для шуток над Шавкатом. Считалось забавным в присутствии Батырова назвать механиков девятой роты «людьми Джавдета» или спросить у дневального «на тумбочке»: «Кто тебя здесь закопал?», – на что тот бодро рапортовал: «Джавдет!». Легендами обрастали самые удачные шутки, свидетелем некоторых из них был и Бессарабов. Как-то перед отбоем, сидя в кубрике, Цивильный о чём-то разговаривал с Гусем и вдруг, заметив боковым зрением, что в двери появился Батыров, продолжил, не меняя тона, как будто об этом и рассказывал: «Мой отец ничего не сказал мне перед смертью. Джавдет выстрелил ему в спину!». Гусь в ответ осуждающе покачал головой и зацокал языком. В этот вечер Батыров чуть не подрался со своим другом Цирюльником.

Масло в огонь порой добавляли и офицеры. На одном из построений батальона комбат, обратив внимание на какой-то шум в рядах девятой роты, спросил у её командира: «Капитан, что там у тебя происходит?». Тот в свою очередь не стал скрывать, что это опять ссорятся Батыров и Бессарабов. «А, ну это нормально!» – с облегчением вздохнул комбат: «Они не любят друг друга. Джавдет – пастух, Абдула – воин!». Батальон хохотал несколько минут. Все эти шутки сильно накаляли отношения в экипаже...

По истечении двух недель службы Румына в новом полку было объявлено об очередных батальонных боевых стрельбах – первых для Бессарабова на новом месте и последних для Батырова в ГСВГ. Йютербогский полигон, на который прибыл батальон, был знаком Румыну, он бывал здесь несколько раз, будучи курсантом, а потом и инструктором. Уверенность в том, что в знакомой обстановке он отстреляет хорошо, окрепла. Посещение казармы полигонной роты добавило мотивации для хорошей стрельбы, поскольку рота жила в жутких условиях и оставаться в ней не хотелось.

В этот же день и приступили. Из тридцати одного экипажа батальона в шестнадцати были только что прибывшие из «учебки» командиры и наводчики – они и выполняли упражнение первыми. Вообще-то батальон прибыл на ночные стрельбы, а дневные были устроены специально для проверки «молодых». За заездами экипажей с вышки оператора полигона следил лично майор Богданов.

Танковая директриса состояла из трёх параллельных дорог, а точнее, направлений, поскольку «дорогами» назвать это было нельзя. Три боевые машины одновременно стартовали от вышки и двигались в глубь полигона, где находились оставшиеся со времён последней войны заброшенные немецкие ДОТы. Время от времени впереди движущихся танков то справа, то слева возникали мишени, по которым надо было стрелять. Задачу осложняло то, что мишени появлялись на разном расстоянии, некоторые из них тоже двигались, к тому же по одним надо было стрелять из пушки, по другим – из пулемёта. За время движения надо было поразить одну пушечную мишень хотя бы двумя снарядами и две – пулемётных. На выполнение упражнения разрешалось потратить три снаряда, а точнее, три «болванки» (в учебных снарядах отсутствовало взрывчатое вещество) и пулемётную ленту в пятьдесят патронов. Эти мягкие условия понравились Бессарабову, поскольку в учебном полку от сержантского состава требовали трёх попаданий в пушечную мишень, а на пулемётные мишени выдавали короткую ленту в тридцать патронов.

Тем временем прошло пять заездов, и с переменным успехом отстреляли пятнадцать бывших курсантов. Предупрежденный командиром роты капитаном Тарасюком, Румын знал, что стреляет последним – таково было распоряжение комбата.

Наконец настала его очередь. По команде комбата, который удобно устроился на балконе вышки с биноклем в руках, экипаж занял свои места в танке на средней дорожке. Батыров завёл двигатель, Лычманюк, сидевший на месте командира, вставил пулемётную ленту в приёмник ПКТ и передёрнул затвор, Бессарабов привычно защёлкал тумблерами. Через минуту экипаж был готов к бою, о чём Бандера и доложил на вышку. По команде оператора полигона танк рванул вперёд, и Румын, нажав на кнопку механизма заряжания, загрузил первый снаряд в канал ствола и прильнул глазами к окулярам прицела. Буквально через пять секунд на расстоянии тысячи метров справа и слева от дороги поднялись две мишени «танк в окопе». Такая мишень считалась довольно сложной, поскольку в отличие от обычного изображения танка в натуральную величину являла собой изображение только башни боевой машины, воровато выглядывающей из-за бруствера окопа. Сама мишень Бессарабова не испугала, подобной пакости от комбата он ожидал, сбило с толку то, что мишеней было две.

– Шавкат, которая из них наша? – воззвал Бессарабов к опытному механику, одновременно вращая башню справа налево и обратно.

– У товарища Сухова спроси или у Петрухи, – злобно пошутил Батыров. – Моя не знает, моя – пастух.

– Румын, – вступил в разговор по внутренней связи Лычманюк. – Вали всё! Чем больше сдадим, тем лучше!

Времени на раздумья больше не оставалось. Бессарабов навёл угольник прицела на правую мишень, замерил дальность до цели и один за другим выпустил в неё два снаряда. Затем перебрал ствол влево

и повторил процедуру, выстрелив один раз. В том, что все три снаряда легли точно в цель, Румын не сомневался.

Танк продолжал движение. Бессарабов бешено вращал башню в поисках новых целей. Наконец вновь справа и слева от дороги появились две мишени РПГ. За долгие часы стрельб и занятий на тренажёрах в учебных классах младший сержант Бессарабов научился определять дальность до пулемётных целей «на глаз». Сейчас он был уверен, что до РПГ семьсот метров, но на всякий случай, прицелившись цифрой «семь» на шкале ПКТ в правую мишень, дал короткую очередь, чтобы потом внести поправку. Поправка не понадобилась – пули прошли мишень, и она завалилась. Ещё примерно пять патронов потратил он на левую мишень и совершенно успокоился. Впереди ожидала ещё довольно сложная движущаяся цель «БОНА» – «Безоткатное Орудие На Автомобиле», но при наличии ленты в сорок патронов с ней справился бы и младенец. То, что мишеней опять было две, уже не удивило, они выехали из-за бугра и покатали по рельсам перпендикулярно движению танка. Румын, внося необходимую поправку на движение, выбрал точку впереди целей и дал такую длинную очередь, что грубо вырезанные из фанеры и обшитые жёстью изображения грузовых автомобилей один за другим сами наехали на его пули и завалились.

Как рассказал потом Бессарабову его друг Антоненко, в это время комбат, стоя на балконе вышки, орал на личный состав батальона: «Учитесь, клоуны! «Учебник» паршивый, «букварь» недоделанный, цыган румынский вас, «боевиков», уделал. Вы все – позор бронетанковых войск! Дрессируешь вас, дрессируешь, а вы как были дикими папуасами, так папуасами и остаётесь!» Возможно, майор Богданов ещё долго кричал бы, но из глубины полигона вновь послышалась пулемётная стрельба, и, поперхнувшись на полуслове, комбат поднёс к глазам бинокль...

Подъехав к концу танковой дорожки, Батыров по команде Бессарабова остановил боевую машину. Румын, прекрасно зная правило, запрещающее возвращаться к вышке с заряженным пулемётом, решил разрядить его в конце огневого рубежа. В ленте оставались ещё два десятка патронов, и выпускать их в воздух не хотелось. В четырёх сотнях метров от места разворота танков стояли старые немецкие ДОТы, и, помня точное расстояние до них ещё со времён «учебки», Бессарабов не колебался в выборе цели...

На небольшом холме у центрального ДОТа в позе горного орла сидела крупная ворона, философски греясь на солнце. Румын навёл цифру «четыре» пулемётной шкалы точно на ворону и, притянув к себе флажок прицела, максимально увеличил мишень. Бедная птица заняла весь экран ПДПС, и Бессарабов фактически посмотрел в сонные глаза жертвы. У вороны оптики не было, и хищный взгляд танкиста она не заметила. Ещё несколько секунд Румын сомневался, но потом, убедив себя в том, что наглая птица являет собой точную копию нацистской символики, нажал на кнопку электроспуска пулемёта. Холм, на котором сидело приговорённое к смерти существо, выбросил из себя фонтаны земли, стена ДОТа брызнула осколками бетона, срезанный пулями небольшой куст исчез неведомо куда. Как в этом свинцовом аду выжила ворона, Бессарабов так и не понял. Пока пулемёт строчил, бедная птица, оторвавшись от земли на двадцать сантиметров, танцевала какую-то дикую тарантеллу. А когда наконец затвор щёлкнул вхолостую и пустая лента сползла в гильзосборник, ворона свечой взмыла вверх и, заложив в небе мёртвую петлю, с огромной скоростью полетела в сторону ФРГ, видимо, здраво рассудив, что в окружении армии НАТО жизнь будет спокойнее.

Вернувшись на исходную точку, танкисты по команде покинули машину и строевым шагом подошли к вышке для «разбора полётов». Комбат встретил экипаж, стоя на балконе. Под вышкой толпился остальной личный состав батальона.

– Бессарабов, ты помнишь правило, в котором говорится о том, что стрельба прекращается при появлении в поле людей и животных? – напустив на себя строгий вид, поинтересовался Богданов.

– Так точно, помню, товарищ майор! – ответил знаток всяких правил и уставов. – Только в нём говорится о прекращении стрельбы при появлении людей, домашних животных и низколетящих самолётов. Вы под какую категорию эту несчастную ворону подогнать хотите? В домашние животные её зачислим или в самолёты?

Батальон буквально грохнул от смеха. Не удержавшись, весело захрюкал и комбат.

Ободрённый общим хохотом, Бессарабов продолжал «умничать».

– К тому же, товарищ майор, если мы на каждого воробья будем внимание обращать, мы не только до моего «дембеля» стрельбу не закончим, но и до вашего не управимся.

Затихший было смех вспыхнул с новой силой.

– Я сегодня впервые в жизни видел, как на запад улетала дохлая ворона, – поддержал шуточный тон комбат. – А что, Бессарабов, автоматом Калашникова и пистолетом Макарова ты так же владеешь?

– Да хоть луком и стрелами! – нагло заявил младший сержант.

После этого, в сущности, безобидного бахвальства Бессарабова вдруг наступила мёртвая тишина, а Богданов побагровел и скрипнул зубами.

– Ты сейчас кого подкалывать пытаешься? – злобно поинтересовался комбат – Ты над кем смеёшься?

– Не над кем, товарищ майор, – опешил Бессарабов – Просто хвастаюсь...

– Ты, Румын, если ещё раз позволишь себе в мой адрес позубоскалить, лучше сам привяжись к пулемётной мишени, чтоб помереть без мучений. Понял?

– Да я вообще ни ухом ни рылом... – совсем растерялся Бессарабов. – О чём речь-то идёт?

– Ладно, – оттаял душой комбат. – Пошёл к чёрту, Вильгельм Телль хренов.

Через десять минут, сидя в «курилке» среди хохочущих сослуживцев, Бессарабов слушал своего друга Генку Антоненко.

– Понимаешь, Румын, – сквозь смех рассказывал Генка, – за неделю до твоего прибытия комбат «под большой стакан» поведал нам об одном случае времён его службы в Республике Конго. Прихватило у него живот от местных харчей, и попёрся он в заросли «по нужде». А задница-то у него, в отличие от всех аборигенов, – белая, её же видно через все джунгли от Бразавиля до Пуэнт-Нуара. Ну и вlepил ему какой-то местный Робин Гуд стрелу в ягодицу по самое оперение, так что один великий шаман потом два часа её вытаскивал с заклинаниями, песнями и танцами с бубном вокруг костра. Представляешь, человек живёт в конце двадцатого века, а ранен стрелой в зад. Какая психика выдержит? А тут ещё ты со своим луком, как купидон...

На первом же построении батальона при подведении итогов стрельб было объявлено о присвоении младшему сержанту Бессарабову очередного воинского звания – сержант. Сказать, что личный состав батальона был удивлён, – не сказать ничего. Командир девятой роты капитан Тарасюк после построения потребовал у Румына объяснений.

– Ты, Бессарабов, – задумчиво начал капитан, – в батальоне всего две недели. Бузишь, валяешь дурака, хамишь комбату, а в результате получаешь лычки на погоны. Ты скажи нам, как родным, может быть, мы чего-то не знаем о твоих родственных или каких-то других отношениях с начальством.

– Да что вы, товарищ капитан, – на «чистом глазу» ответил новоявленный сержант. – Просто комбат у нас – мужик порядочный, «слуга царю, отец солдатам».

– Знаешь, Румын, – криво ухмыльнулся ротный, – ты эти свои сказки о добром гестаповце рассказывай приезжим на вокзале.

В тот же вечер Батыров, который, как и все «тюбетейки», мечтал стать хотя бы ефрейтором, с горя откушал водки. Этот истинно русский напиток всегда оказывал на жителей Средней Азии непредсказуемое воздействие. Не стал исключением и данный случай. Шавкат бегал по батальону с табуреткой в руках в поисках литовцев. Вальдосы, предупреждённые Бессарабовым, где-то прятались. Батыр в поисках того, на ком можно было бы выместить злобу и разочарование в службе, пытался затеять конфликт с Румыном. Однако Бессарабов демонстративно пришивал на х/б новые погоны и на провокации не поддавался. Наконец «зелёный змей» свалил Батырова на кровать и усыпил. Через полчаса после отбоя в кубрик вернулись литовцы и тихо легли в свои койки. Уже засыпая, кто-то из Вальдосов произнёс: «Не будет покоя, пока жив Джавдет!»

Ещё через три дня из «учебки» прибыли молодые механики-водители. После подъёма комбат собрал эту радостную новость личному составу и, приказав Бессарабову сопровождать его на плац за пополнением, отправил весь остальной батальон на зарядку. Необходимость в сопровождении майор Богданов мотивировал так: «Не для того мне мама ручки рожала, чтобы я ваши личные дела десятками таскал!» Румын про себя поблагодарил комбата за то, что ему не пришлось в голову проехаться на плац верхом на новоиспечённом сержанте, поскольку мама майора Богданова, скорее всего, ножки ему рожала не для походов за «молодыми».

Задержавшийся в батальоне наводчик Васька Лычманюк подошёл к командиру своего экипажа с личной просьбой.

– Слухай, Румын, – быстро заговорил Бандера, – не треба нам бильше узбекив! Хапай молдаванина або «бульбаша», або, бис з ним, москаля.

– А может быть, западного украинца взять в экипаж? – состроив невинное лицо, поинтересовался Бессарабов.

– Так! – радостно закивал Лычманюк. – Це було бы зовсим чудово!

– А ты, родной, седьмую танковую дивизию с «Галичиной» не перепутал? – возмутился Румын. – Беги на зарядку, клоун, и прекращай свою украинскую мову – я слышал, как ты прекрасно говоришь по-русски.

На плацу стояли три десятка бывших курсантов и затравлено озирались. Майор Богданов подошёл к сопровождавшему пополнение лейтенанту со словами: «Ну, и где ты выловил этих «дохляков»? Лучше никого не было?». Оставив комбата выслушивать оправдания лейтенанта, Бессарабов вальяжно прошёл вдоль строя. Запуганные в учебном подразделении своими сержантами, рядовые вытянулись по стойке «мирно», поедая глазами новые, сияющие погоны начальства. В середине шеренги замер и почти не дышал солдат с европейскими чертами лица, но при этом, смуглый, как азиат.

– Национальность? – остановившись перед смуглым и заложив руки за спину, поинтересовался Румын.

– Муханик-вредитель, – со знакомым ещё по «гражданке» акцентом отчеканил рядовой.

– Ага, – кивнул головой Бессарабов. – А воинская специальность – молдаванин?

– Так точно! – согласился солдат.

– Жалобы на здоровье имеются? – продолжал допрос сержант.

– Никак нет! – бодро, по-уставному отвечал земляк.

– То, что ты здоров, – назидательно молвил Бессарабов, – не твоя заслуга, а недоработка Советской армии. Но я тебе гарантирую через полгода хроническую мигрень, запущенную подагру и душевную ипохондрию. Добро пожаловать в 592-й экипаж.

Никак не отреагировав на армейский юмор «муханник-вредитель» смотрел куда-то за левое плечо сержанта. Повернув голову влево и до предела скосив глаза, Бессарабов увидел, что за его спиной стоит комбат и явно наслаждается речью способного ученика.

– Я всё правильно ему объяснил, товарищ майор? – подсуетился сержант.

– Молодца! – кивнул Богданов. – Только руки с задницы убери, завоняются...

До обеда новые механики-водители приняли от «дембелей» танки по описи, заняли кровати и тумбочки уволенных в запас, а во время обеда съели их порции. «Дембелей» покормили сухим пайком и выдали ещё по несколько «сухпаев» на дорогу.

Наконец к воротам КПП подкатил автобус, который должен был отвести улетающих в Союз на аэродром. Прощались с «дембелями» побатальонно, дабы, как сказал командир полка, сохранить семейную атмосферу.

На площадке перед казармой комбат выстроил свой батальон, поставив перед строем жидкую шеренгу убывающих домой. На ступенях расположились три полковых «духопёра» со своими трубами и «стучач» с большим барабаном, которые по отмашке комбата должны были исполнить «Прощание славянки». «Дембелей» предупредили о том, что им надо будет пройти строевым шагом по периметру площадки, после чего строем идти к КПП. Чемоданы были погружены в автобус заранее, чтобы, по меткому выражению комбата, «не превращать великий ритуал в базар-вокзал».

Стоя на две ступеньки выше музыкантов майор Богданов произнёс прочувствованную речь. Смысл её сводился к тому, что «дембеля» третьего танкового батальона и на «гражданке» не уронят звание советского танкиста и по первому же призыву Родины не разбегутся по щелям, как тараканы, а вернутся в строй, и все как один сгинут в этой кутерьме во имя коммунистических идеалов и для дальнейшего карьерного роста комбата. А поскольку, по мнению майора Богданова, международная обстановка сложна, как никогда, то и возвращение «дембелей» в родную часть произойдёт в ближайшие дни. В завершение речи майор Богданов поднял руку для того, чтобы подать сигнал оркестру, но вдруг, словно что-то вспомнив, крикнул: «Батыров, если на «гражданке» встретишь Джавдета, не убивай его – он мой!», – после чего дал отмашку.

Оркестр грянул марш, «дембеля» одновременно топнув левой ногой, отправились в свой последний парад. Немного подпортил торжественность момента дикий хохот в строю третьего батальона и даже в идущей колонне. Сквозь музыку порой прорывалась узбекская ругань Батырова и отрывки его же криков на русском языке: «... Румына в гробу., ...всех румын в белых тапочках..., ...всю Румынию топтал...».

В первом ряду остающегося коллектива стоял сержант Бессарабов и, увеличивая всеобщее веселье, то прижимал ладони к лицу, то оглаживал несуществующую бороду, то мелко кланялся, творя какой-то издевательский намаз...

На следующий день Румын почувствовал себя плохо. Было ли его недомогание карой Аллаха за вчерашний намаз, последствием сидения в каменном мешке гауптвахты или неприятием сырого климата Германии, но одолел его жуткий фурункулёз. Причём чирьи выскочили у него на «пятой точке», и сбылось пророчество комбата – Бессарабов не сидел, а только бегал, ходил или, в лучшем случае, стоял.

Промучившись так целый день, вечером Румын направился к батальонному медбрата – ефрейтору Бугаенко. Представитель медицины, осмотрев пациента, посетовал на отсутствие медикаментов и предложил замазать очаги воспаления зелёной: она, мол, и лечит, и дезинфицирует, и предупреждает развитие болезни. Но главным аргументом было то, что, кроме зелёнки, у него всё равно ничего нет. Испытывая в глубине души почтение к докторам, лекарям и шаманам, Бессарабов безропотно лёг на медицинскую кушетку и принял лечение зелёной. Медбрат, вооружившись спичкой с намотанной на серную головку ватой, рисовал долго и вдохновенно, порой даже прерывая процесс, чтобы отойти от кушетки и издали полюбоваться на своё творение, прищурив левый глаз и оценив перспективу. В завершение работы батальонный Гиппократ заявил, что в положении Румына главное – после отбоя сохранять неподвижность, лёжа в кровати на животе, ибо трение нижнего белья об эпидермис раздражает поражённые участки и сводит на нет дорогостоящее лечение. Угостив Бугаенко сигаретой, Бессарабов пообещал следовать его рекомендациям.

Слово своё Румын сдержал. Дождавшись отбоя, он улёгся в свою постель, наказав сослуживцам беречь его отдых, потому что он болен, а в случае пожара или ядерной войны – выносить первым вместе с кроватью.

Надо же было такому случиться, что в эту ночь комбат в очередной раз «наступил на стакан». Поскольку развлечений на территории части было немного, выпивший командир пришёл в батальон и устроил общий подъём с построением в коридоре, дабы разогнать тоску-печаль.

Бессарабов на построение не вышел. Лёжа в постели, через открытую дверь он слушал ночную лекцию майора Богданова, надеясь на то, что его отсутствие не заметят. Надежда не оправдалась. Затронув тему падения роли младшего командного состава в армии, на должность отрицательного примера комбат назначил Румына. Затем, естественно, сразу заметил, что самого примера в строю нет. Ядовито поинтересовавшись у девятой роты, не съели ли Бессарабова за ужином, а если нет, то где можно лицезреть эту живую легенду третьего танкового батальона, майор Богданов получил ответ, что легенда заболела. Будучи человеком сердобольным, комбат решил навестить больного, для чего отправил весь остальной батальон спать, а сам во главе девятой роты ввалился в кубрик и скорбно замер у кровати умирающего.

Майор Богданов молчал долго, молчала и вся девятая рота, не издавал никаких звуков и Бессарабов. Наконец комбат понял, что пауза затягивается и становится чересчур театральной, а потому прервал её.

– Румын, – душевно произнёс майор, – ты бы сказал несколько слов своим товарищам по оружию перед смертью или хотя бы встал с кровати в присутствии офицера.

– Да я бы и рад, товарищ майор, – извиняющимся тоном произнёс Бессарабов. – Но из-за болезни, по рекомендации доктора, я вынужден после отбоя сохранять неподвижность.

– Что ж это за недуг на тебя свалился, сиротинушка? – посочувствовал комбат.

– Да неудобно говорить, товарищ майор, – отнекивался Румын.

– Нет, ты скажи товарищам, – настаивал комбат. – Здесь здоровых нет. Я вообще считаю, что тот не мужик, кто два раза СПИДом не болел. А если будешь дальше ваньку валять, я тебя вечным дежурным по кухне назначу. Итак, что с тобой?

Не выдержав допроса, Бессарабов, соорудив страдальческое лицо, слез с кровати и, повернувшись спиной к коллективу, со словами: «А вот что!», – спустил трусы.

В первую секунду Румыну показалось, что в кубрике за его спиной рухнул потолок, придавив товарищей. Оглянувшись через плечо, Бессарабов увидел, что вся девятая рота буквально трясётся, хохоча на все лады. Не смеялся только комбат. Более того, выражение лица майора Богданова напоминало то, которое сержант уже видел однажды на полигоне после разговора о луке и стрелах, что настораживало и даже пугало. Почувствовав неладное, Бессарабов, как был со спущенными трусами, доковылял до зеркала и, повернувшись к нему задом, вывернул голову, дабы обозреть собственные ягодицы. Увиденное потрясло до глубины души. На «пятой точке» была нарисована мишень. В самом центре – круглая зелёная клякса обозначала «десятку», далее, как круги на воде, расходились остальные деления. Бессарабов натянул трусы и, опустив голову, приготовился встретить смертушку лютую.

– Я тебя предупреждал, Румын, что «подкалывать» меня – всё равно что мочиться против ветра? – подойдя, прошипел комбат. – Ну, вот и не обижайся. Семь суток гауптвахты!

– Не имеете права, товарищ майор, – слабо возразил Бессарабов. – Семь суток даже командующий Группой войск впясть не может.

– Ага, – согласился Богданов. – Тогда от имени Андреаса Папандреу – десять суток, и можешь ему жаловаться...

На улице цвела весна. Каждое утро звонко пели птицы. Деревья одевались в сочную, свежую зелень. Сержант Бессарабов восьмью сутками сидел в одиночной камере гарнизонной гауптвахты. Раз в день, вооружённый пузырьком с зелёной, навещал его медбрат. В первое посещение, прежде чем войти в камеру, ефрейтор Бугаенко долго объяснял Румыну, что был у комбата, пытаясь взять вину осуждённого на себя.

– Я ему говорю, что это я нарисовал, – оправдывался медбрат через закрытую дверь. – Мол, думал, Румын в бане разденется, ребята посмеются.

– А он что? – встрепенулся в камере Бессарабов.

– А он говорит, мол, задница Румына – ему и отвечать. А то ему завтра на булках кто-нибудь «Хайль Гитлер!» напишет, а он эту надпись министру обороны покажет.

Кроме Бугаенко и «выводных», которые сменялись каждый день, осуждённый неделю никого не видел. На восьмью сутки в караул заступила родная рота, «выводным» назначили молодого Гетто. Он принёс Румыну «человеческой еды» из полковой столовой. Сигареты, чувствуя свою вину, в медицинской сумке каждый день контрабандой проносил Бугаенко, так что в табаке Бессарабов не нуждался.

Вечером, к удивлению узника, дверь камеры открылась и вошла Алия. Она принесла какие-то булочки и кофе в термосе из офицерского кафе. Алия, смеясь, поведала Румыну, что он стал в полку личностью известной, а над его шуткой с мишенью хохотал даже командир части. Кроме того, девушка рассказала, что к комбату приходила целая делегация из «Бухенвальда» с просьбой выпустить Бессарабова, но майор Богданов пригрозил посадить всех в соседние с Румыном камеры.

Через полчаса Алия ушла, предупредив, что термос завтра надо отдать Гетто, поскольку сменится караул и посуду отберут. Румын с тоской послушал, как каблучки Алиии простучали по коридору гауптвахты, и лёг на жёсткие нары. Задумавшись над собственным бедственным положением и покопавшись в своей душе, Румын вдруг понял, что не злится на комбата, зато испытывает глубокую ненависть к Андреасу Папандреу, о котором не знает ничего, кроме того, что он – премьер-министр Греции...

Александр ПЕТРУША



Родился в 1952 году. Окончил Киевский политехнический институт. Работал в НИИ и КБ. Живет в Киеве.

Меткие стрелки

Истории жизни

Наверное, из меня ничего толкового не получится, нет у меня четкой цели, плана жизни и воли для достижения каких-либо результатов. Зато у Димки всего этого в избытке: он точно знает, что будет поступать в Ленинградское мореходное училище, учиться на «отлично», всегда и во всем первый. Понятно, кто в нашей компании главный, а в классе – лучший.

Сегодня, правда, нам не повезло: мы с Димкой дежурные. Хотя, как сказать, ему, может, и не повезло, а мне, наоборот, – общение с такой целеустремленной личностью наполняет скучные занятия смыслом и повышает настроение. Рассуждая на военно-морские темы, мы быстро убрали наш 3-Б класс, подмели полы, помыли доску и сейчас собирали чернильницы-непроливайки в специальную коробку, чтобы новые дежурные в понедельник вновь раздали их ученикам. Теплое, ласковое майское солнышко заглядывало в открытое окно класса. А мы, наоборот, выглядывали из окна второго этажа и говорили о том, как важно для солдата точно бросить гранату в машинное отделение танка или в амбразуру дота. Когда беседа дошла до обсуждения техники боевого броска, вопрос уперся в практическую плоскость – преимущества навесной или настильной траектории определить теоретически было невозможно. И Димка предложил:

– А давай проверим! Твоя цель – пионер с горном, моя – пионерка, отдающая салют.

Во дворе школы, на зеленых газонах, по обе стороны от асфальтированной парадной дорожки, стояли гипсовые скульптуры пионера и пионерки. Белые.

Димка первым бросил гранату-чернильницу. Я не отстал. Гранаты ложились кучно, взрывались сочно, но быстро закончились. Как раз за секунду до того, когда в класс ворвались директор, завхоз, физрук и пионервожатая. Через час вызванные «по тревоге» родители застали нас с Димкой безуспешно пытающимися отчистить фиолетово-синих чернильных пионеров наждачной бумагой.

Не знаю, чего стоило родителям замять почти политический скандал, переведя его в хозяйственную плоскость. Но утром, в воскресенье, во дворе школы стояли свежескрашенные бронзовые пионеры, устремленные в гордом возвышенном движении к будущему. А мы с Димкой долго отмывали кисти и руки керосином и замечательной жидкостью – уайт-спиритом.

Особых воспитательных воздействий со стороны родителей, однако, не последовало. Но если в доме нужно было что-нибудь покрасить, я теперь точно знал: моя задача.

Но вот что удивительно! Обратите внимание – после этой истории, произошедшей в 1962 или 63 году, резко пошла мода на окраску бело-серых гипсовых скульптур пионеров, павликов морозовых и вождей долговечной, яркой, веселой, жизнерадостной бронзовой краской.

Наверное, в стране появилось много метких стрелков, таких, как мы с Димкой.



Апофигизм. Начало

Не знаю, какая светлая чиновничья голова придумала послать нас, сопливых третьеклассников, в колхоз, спасти плантации капусты от массированного нашествия прожорливых гусениц совки.

Чудесный сентябрьский день, славное пригородное село Копыстын (конечно, тут же переименованное нами в Капустын), живописные ряды плотных, смачно хрустящих кочанов капусты на крепких, высоких ножках. А на капусте противные зеленые и коричневые мохнатые гусеницы.

– Вот вам коробочки, каждому по рядку, собираем гусениц. Норма – 100 штук. Выполнил – отдыхаешь или помогаешь отстающим, – четко поставила задачу учительница.

Сначала было интересно, потом не очень, потом надоело. До нормы далеко, до конца рядка еще дальше. День склоняется к вечеру, но проклятые гусеницы как будто специально издеваются, прячутся. Очень хочется помочь Олечке, а она и не смотрит в мою сторону... Да и зачем нарушать экологическое равновесие в природе, вырастет много лишней капусты, зайцы обожрут, растолстеют, волки их, жирных и неповоротливых, уничтожат полностью... Обрывки бессвязных мыслей вдруг сами собой упорядочились, и неизвестно откуда пришла гениальная, короткая, как молния, взрослая мысль: «А пофиг!»

Через пять минут я уже помогал Олечке, какое-то время она мне улыбалась... Но счастье никогда не бывает долгим, и Оля вдруг закричала:

– Марь Ивановна, Марь Иванна! А Петруша их разрывает!

Почти родившееся чувство и союз сердец были разрушены страшным предательством...

«А пофиг!» – снова подумал я. Заклинание сработало и спасло от мук неразделенной любви. Теперь мне нравится Наташка, соседка по парте.

И я знаю волшебные слова.

Всё – для нас

Не сразу, но мы все-таки поняли, что живем в новую космическую эру. Одну из площадей родного Хмельницкого «...прикрасила величнa скульптурна група "Наука, праця, космос" встановлена на честь підкорення космосу радянською Людиною». Из уличных репродукторов непрерывно звучали популярные «14 минут» и «Жить и верить – это замечательно! Перед нами небывалые пути. Утверждают космонавты и мечтатели, что на Марсе будут яблони цвести!» Лирическая, проникновенная песня до слез нравилась мне, особенно потому, что в фильме «Мечте навстречу» ее слушает такая девушка красивая! Фантастический боевик «Планета бурь» я посмотрел в кинотеатре им. Чкалова несколько раз.



А булочная-автомат на 25 Жовтня! Мы специально ходили туда, чтобы, опустив серебристый жетон в прорезь автомата, купить паляницу прямо с улицы, через открывшееся окошко.

Но особенно нам нравилась новая парикмахерская, теперь салон красоты, который назывался «Аэ-лита». Стена дамского зала была полностью стеклянная, и женщины, делающие прическу, завернутые в цветные простыни-скафандры, в космонавтских шлемах-фенах важно сидели в креслах, напоминающих кресла космического корабля, как в витрине.

Вот и сегодня мы, пацаны, крутились неподалеку, пересмеиваясь, толкая друг друга локтями, показывая на витрину. Неожиданно к нам подошла пожилая женщина, поставила на тротуар тяжелые кошелки и укоризненно сказала:

– Зря смеетесь, молодые люди! Ведь это всё для вас!

На долю нашего поколения выпало многое: конфликт на острове Даманском, события Пражской весны, Афган и Чернобыль, распад империи, крах всех идеалов. Мои друзья и сверстники честно отдавали долг Родине, а многие отдали здоровье и жизнь. Честно – наверное, потому, что у нас было удивительное время юности, когда всё – для нас.

Хронический иврит

Найти весной 1962 года на улице новый послереформенный рубль было настоящим чудом. И с нами оно произошло.

– Смотри! – задыхаясь от восторга, сказал мне брат, протягивая желтую, смачно хрустящую бумажку. Я его прекрасно понимал: на эти деньги можно было купить давно присмотренный нами игрушечный грузовик, сходить вдвоем в кино, полакомиться пломбиром и еще останется мелочь на пирожки и газировку!

Радужное сияние мечты неожиданно погасло, когда к нам по скользкому тротуару улицы Фрунзе, припадая на одну ногу, вдруг подбежал городской сумасшедший, Мудрый Яша. Очень похожий на А. Эйнштейна, потрясая длинными седыми волосами, мелко дрожа всем телом, он страстно шептал:

– Пацаны, отдайте рубль, пацаны, отдайте рубль! Я потерял!

Мы с братом были так ошарашены вниманием местной знаменитости, что покорно расстались с купюрой. Рубль мгновенно исчез в кармане Яши, оставив в детских душах смутное чувство возможных, но несбывшихся надежд...

– Вы добрые ребята, – вдруг доверительно сказал Мудрый Яша, гипнотизируя потрясающей глубиной живых карих глаз, без малейших признаков безумия. – Так чтоб вы знали, в жизни есть много разных вещей, но самое плохое – геморрой и себоррой! И еще – старость, бедность и хронический иврит...

Мы с братом в жизни повидали и пережили многое. И мы полностью и во всем согласны с Мудрым Яшей. Кроме последнего – не пришлось...

Людмила Николаевна

Все переменилось у нас в пятом классе. Во-первых, у нас новый классный руководитель, молоденькая учительница, только после института, Людмила Николаевна. Во-вторых, она ведет русский язык и литературу. А в-третьих, мы не успели оглянуться, как оказались втянутыми в безумно интересную игру, учебу с удовольствием, с соревнованием.

Мы стремились, чтобы нас заметили, оценили, рвались отвечать, к доске и с места. Скучные склонения и спряжения, причастия и деепричастия наполнились простым и увлекательным смыслом. Оказалось, что кроме понятного с детства Пушкина, есть загадочно-демонический Лермонтов, фантастический Гоголь и нехрестоматийно удивительно родной Шевченко!

Мы бредили былинами, балладами, поэмами и рассказами. Ловили каждый взгляд и жест, мальчишки были поголовно влюблены, а девчонки обожали нашу Людмилу как старшую подружку и доверяли ей свои сокровенные девичьи тайны. Буйный, разболтанный, неуправляемый класс был покорен.

Но, как оказалось, не весь. Сегодня в туалете (в котором, естественно, тайком курили, обменивались запрещенными в школе авторучками, травили анекдоты) встречает меня живописная троица: переросток, второгодник по кличке Гнилый и его два приятеля, заричанские, типа сельские «погнали наших городских». Картинно затыгиваясь «Беломором», виртуозно сплевывая, Гнилый гундосил на шикарном суржике, указывая папиросой на меня:

– Отож, ще одэн зи штанив выстрыбуе, слынку ковтае... А у нэи колина червони, мабуть зранку трахкалася, кажуть люды, кажуть, що я файна дивка, бо я у колгоспи, го-гой, перша брыгадырка, го-гой...

– ??? – насторожился я, ожидая чего-то еще более мерзкого, ну и что, замужняя женщина, причем тут красные коленки...

– И ваапче, вона ж – жыдивка! – выложил последний аргумент Гнилый.

Я знал, что это не так. К тому же, в многострадальном, наполовину еврейском местечке Проскурове, это не было оскорблением, гораздо обиднее было бы – москаливка...

Но сказано это было с таким непередаваемым выражением превосходства и презрения, что я, толстый, флегматичный, мирный и интеллигентный мальчишка, не выдержал. Раскуренная папироса была потушена о переносицу ошарашенного Гнилого, сразу сделав его похожим на индийскую красавицу...

Я не забыл, как летом, в парке у кинотеатра им. Чкалова, банда заричанских-ружичанских избилла меня и отобрала карманные деньги...

Следующим жестом был удар в пах и коленом в зубы. Гнилый хрипел и размазывал по лицу кровавые сопли. Дружки в ужасе выскочили из туалета и побежали звать физрука.

– Я не забыл, как ты вился вокруг главаря, сдавал меня, своего одноклассника, приговаривал: «Вин миський, и гроши в нього е...» Попей воды из унитаза – не хочешь – заставлю! За все рассчитаюсь, за обиды, за цинизм, за вранье...

Меня оторвали от окровавленного, визжавшего, как заяц, Гнилого три взрослых мужика – физрук, завуч и лысый лаборант по прозвищу Холодец. И долго не могли скрутить, но тем не менее справились.

Скандал замяли. Гнилого я больше не видел. Мне сказали, что его перевели в другую школу. Мои друзья боялись мести банды, провожали меня из школы домой и сопровождали по городу. Но ничего не произошло. Вскоре отца перевели по замене служить на Сахалин, и мы уехали из Хмельницкого.

Так я стал мужчиной. А это значит, что с тех пор никто не мог безнаказанно обидеть или оскорбить меня и моих близких.

Спасибо, Людмила Николаевна!

NOROC!

Если бывают в юности счастливые дни, то они, наверное, такие, как сегодня. Утром я получил по почте извещение, что принят на первый курс приборостроительного факультета КПИ! Конечно, я уже знал об этом, но одно дело – открытка от знакомого киевлянина Жорика о том, что он видел мою фамилию в списках поступивших, а официальная бумага с печатью – совсем другое.

Кроме того, сегодня я встретился с другом детства, соседом по нашей старой коммунальной квартире, Витькой. Он поступил в Ленинградское мореходное училище и вчера приехал в наш родной город Хмельницкий.

Мы долго ходили по улицам, узнавая и не узнавая знакомые места, вспоминая школьные приключения, говорили и не могли наговориться. Встречные девушки оборачивались нам вслед – курсантская морская форма очень шла Виктору. Когда солнце начало склоняться к вечеру, мы удобно расположились на лавочке в скверике напротив стадиона «Динамо», с опаской разливая по стаканам купленную бутылку «Білого міцного», закусывая вино вкуснейшими ностальгическими пирожками «со вкусом детства».

Мы напрасно волновались, хотя в обычно малолюдном в это время месте вдруг оказалось много людей. На нас не обращали особого внимания, движение шло в направлении к старому летнему кинотеатру. Видимо, он был уже полон, так как парни и девушки стали собираться уже рядом с ним. Сквозь шум и шелест разговоров слышались загадочные фразы «...Де че плынґ китареле», «...ВИА, молдавский Биттлз», «...миньон на румынском языке».

Увлеченные разговором, мы не замечали, что уже начало темнеть. В вечернее небо из-за стен открытого сверху кинотеатра ударил столб света, и раздалась первые аккорды органа и электрогитар.

Чистейший мощный звук, звучные, хорошо подобранные голоса, лирическая мелодия заворожили с первой же ноты:

*Cîntă un artist
Zîmbet optimist
Numai dorul lui
Nul spune nimanui*

*Tu încă mai crezi
Ochilor cei verzi
Vrei sa vezi în ei
Chemarea dragostei*

*Spre ochii ei spre oceanele verzui
Pluteşteacum corabia speranţei lui...*

Драматическая тема, мастерское исполнение, бархатные обертоны голосов артистов сразу проникали в душу. Через несколько минут я заметил, что мы с Витькой стоим на скамейке, рядом с нами густая толпа молодых людей, вернее, уже не толпа, а единый коллектив друзей. Затаив дыхание, мы слушали:

*De ce plâng chitarele
ştii doar felinarele
Strunele amarele
Ce oare au pierdut?*

*Fete ca lalele
Cu ochi mari ca stelele
Vin încet ca ielele
şi se opresc tăcut...*

Песня и мелодия не нуждались ни в каком переводе, мы знали, мы чувствовали – это о юношеской несбывшейся любви:

*Волны смывают следы легко,
Ты со мной рядом и далеко,
Не позабуду я ничего,
А ты забудешь всё...*



*Взявшись за руки, вдвоем
Мы вдоль берега идем,
Пена, словно кружева
На золотом песке...*

В объемном столбе света над площадкой в потоке мелодии о верной и горькой любви воздушно кружились, как мотыльки, лепестки роз и георгинов, души и сердца людей слились в одном ритме дыхания:

*Светла, как день, темна, как ночь,
Зовёшь меня и гонишь прочь.
Что нужно сердцу твоему?
Скажи мне всё, и я пойму...*

*Может быть, строю я
Волшебный замок из песка.
Может быть, выдумал –
И нет тебя, любовь моя...*

Отзвучали последние аккорды, а люди все не расходились, никто не замечал ни рухнувшего вместе с мальчишками забора, ни невысохших слез на лицах, ни наступившей вдруг летней ночи. В душе все продолжала звучать завораживающая мелодия о весне, любви, молодости, о прекрасной стране Молдове, о наступающем, манящем и тревожном...

*Îmi șoptește inima, inima, inima
Simțe că-i aproape primăvara
Și nu știe nimenea, și nu știe nimenea
Gândurile mele unde zboară.*

*Se trezesc câmpiile, cântă ciocarliile
Nu oprește nimeni primăvara
Primăvara, primăvara,
Imi amintești a căta oara de lumina dragostei dintâi...*

Каким чудесным казалось время, впереди нас ждала невероятная любовь, интересная замечательная жизнь, ослепительное будущее, которое невозможно предсказать и предвидеть!

И, несмотря на смену времен и эпох, революций, парадов суверенитетов и образования государств, обманутые обещания и несбывшиеся надежды, все-таки было в нашей жизни, пусть кратковременное, пусть насмешливое, ускользающее счастье!

Hi, Noroc!

¹ *Использованы тексты из композиций ВИА «Норок»: Cîntă un artist (Артист поет), De ce plîng chitarele (О чем плачут гитары), De ce te mai iubesc (Скажи, зачем и почему), Primavara (Весна).*

Читая Вознесенского. Знак судьбы

На этот раз профком института порадовал бесплатными билетами на эстрадный концерт в только что построенный дворец «Украина». Я, как профорг, два выделенные нашей группе билета распределил... ну вы понимаете, как распределил.

Перед началом концерта, в партере зрительного зала, я, внутренне сжавшись, обнаружил, что соседями справа оказались наш декан с супругой, доценты, преподаватели, в общем, весь цвет и руководство факультета.

Слева... то, что слева, можно описать только словами поэта, да простит меня А. Вознесенский, что я цитирую его строки о Пастернаке – не о Пастернаке:

*«...Твой кумир тебя взял на премьеру.
И Любимов — Ромео!
И плечо твое онемело
От присутствия слева...»*

Полностью зажатый, деревянный, я не особо запомнил начало. Ни солист Укрконцерта, будущий народный артист Н. Гнатюк с проникновенными «Ясенями», ни женский ансамбль «Мрия» с потрясающей

«Чаривной скрипкой», ни пока неизвестная, но уже восходящая звезда – ВИА «Смеричка» не заставили меня следить за концертом.

«...Левое ухо мое, щека, плечо, коленка – как обморожены, немеют от соседства. Вернее, лицом, глазами стала эта онемевшая часть лица, головы, щек. Они видят слева удивленно восторженный профиль и светящуюся челку на лбу...» Не посмотрел я на сцену и тогда, когда на ней появились артисты К. Немчинова и В. Плохов с крупным, ярким, разноцветным попугаем.

Это было ошибкой. «Здравствуйте, товарищи! Петруша хороший!» – заорал попугай. Справа дружно и громко засмеялись. Я вжался в кресло.

– Петруша, поговори со мной, – упрашивала артистка.

– Жрать хочу! – не соглашался попугай, однако, получив угощение с ладони, решил поговорить. – Петруша – хороший мальчик! Пойдем гулять! – На отрицательное покачивание головой, поняв, что гулять не пойдет, разразился стихами: – Птички все на веточке, а я, бедняжка, в клеточке! Божже мой, какая несправедливость!

Клавдия пожалела попугая:

– Петруша, молодец, поговорил со мной, а теперь пойдешь, поговори, с кем захочешь! – и расстегнула защелку на золотом кольце. Петруша полетел в зал.

«... Вдруг любимовская рапира – повезло тебе, крестник! – обломившись, со сцены вцепилась в ручку вашего кресла.

Стало жутко и весело стало от такого события!

Ты кусок неразгаданной стали взял губами, забывшись...»

А пророческий клинок рапиры, попугай Петруша, летал в пространстве зала, незримо приближаясь. Краем сознания я отметил размах крыльев и не присущую попугаям планирующую манеру полета кругами.

«...Поэзия – неотвратимая случайность. Вдруг шпага ломается, и конец ее, описав какую-то параболу, вифлеемски блеснув, пролетает над четырьмя рядами и, как нарочно, отыскав, шмякается о ручку между нашими креслами. Я нагибаюсь, поднимаю. Голова моя полна символов, предопределений и прочей чепухи. Я так и не разжимал этого обломка до занавеса...»

Точными движениями, лишь слегка потревожив прически рядом сидящих дам, попугай сложил крылья и уселся на спинку кресла прямо передо мной.

– Привет, мужик! Как тебя зовут? – спросил попугай, и, пока я пытался справиться с немотой, слева улыбнулись: – Петруша хороший! Ты кто? Что ты хочешь?

– Я студент... – слегка обрел дар речи я.

– Инженерр! Конструкторр! – завопил попугай. – Дай сто рублей!

– У меня столько нет, – лепетал я.

– Зарботай! Можно рукопись продать! – вдруг процитировал классика Петруша и посоветовал: – Подай заявление! В творческий союз!

Справа и в соседних рядах, где сидят наши, стоит гомерический хохот. В зале шум прибора, любопытные даже встают, чтобы посмотреть на источник безудержного веселья.

– Петруша красавец, а вы все дураки! Петруша – наш соловей! – обиделся на них попугай.

Моя душа уже давно покинула бесчувственное, почти чужое тело.

– Выпьем, Петруша! Выпьем водки! – пожалел меня попугай. – Выпьем и снова нальем!

Правая часть зала рыдала. Слева, в знак поддержки, мне крепко сжимали руку выше локтя.

«... Большая беда вытесняет меньшую.

Чем горше, тем слаще становится участь.

Сейчас оплеуха милей поцелуя.



*Дешев парадокс, но я радуюсь, мучась.
Верней, нахожу наслажденье в печали.
В отчаянной доле есть ряд преимуществ...»*

Петруша заговорщически подмигнул, улыбнулся (улыбаются ли попугаи?), прокричал на прощанье:
– Не тормози! Все свободны! Привет! – и исчез.

Чем кончился вечер, я не помню. Но хорошо помню, что было потом. Как сидел вместо институтских занятий в республиканской библиотеке им. КПСС, читал и переписывал стихи А. Вознесенского, Б. Окуджавы, П. Вегина. Помню листочки в клеточку, исписанные собственными стихами. Как сидел в той же библиотеке в аспирантские дни вместо работы над диссертацией, читал и переписывал... Как охотился на нелегальном книжном рынке за томиками Мандельштама, Ахматовой, Вознесенского. Как ночами, у магнитофона, в наушниках, на портативной машинке «Москва» печатал в закладке под копирку на тонкой папиросной бумаге пять экземпляров самодельного сборника стихов и песен В.Высоцкого. И на желтой, почти газетной, «потребительской» бумаге свои стихи. Как увидел воплощенные в «металл», «хард» и «софт» свои первые разработки. Как впервые увидел свои стихи, напечатанные в журнале. Как держал в руках свою первую книгу...

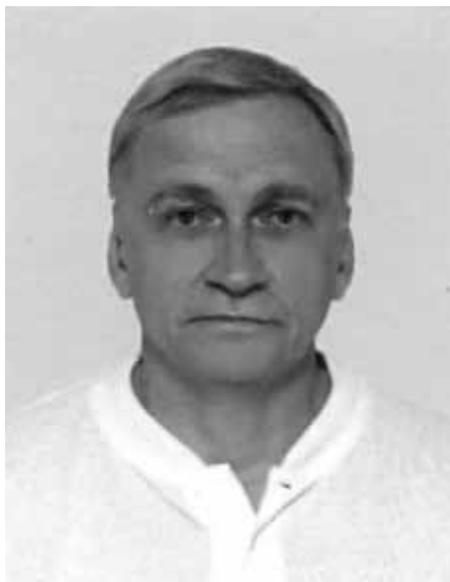
Всё предсказал вещей попугай.

Вспоминая успехи и неудачи, всё, что было и чего не было, повторяю любимые стихи и всё больше убеждаюсь:

*«...что живем не чтоб подохнуть, –
чтоб губами тронуть чудо
поцелуя и ручья!
Чудо жить – необъяснимо.
Кто не жил – что спорить с ними?..»*



Сергей КРИВОРОТОВ



Родился в 1951 году. Образование высшее. По профессии врач-кардиолог. С 2011 года полностью перешёл на литературную деятельность. Живёт и работает в г. Астрахань, Россия.

Публиковался в различных российских и зарубежных изданиях. В 2006 году стал серебряным лауреатом Второго Международного литературного конкурса «Золотое перо Руси» в номинации «Сказка». В 2010 году занял второе место на литературном конкурсе на лучший короткий рассказ журнала «Нива» (г. Астана, Казахстан).

Душа ёлки

Зелёная ёлка, новогодняя кудесница, почему так трудно отвести взгляд от блеска её игрушек и разноцветных огоньков? А хвойный запах наполняет помещение, создавая какую-то особую необычную атмосферу. Даже уколы иглол во время ритуала обрядования умиротворяют нас. Что служит причиной подобного воздействия на человеческую психику? Можно ли свести всё объяснение к успокаивающим свойствам зелёного цвета и фитонцидов хвои? Не имеет ли ёлка в действительности своё особое биополе, вызывающее в нас ощущение праздника?

Словно эти лесные создания пытаются внушить нам, что приходятся живыми сёстрами на нашей единственной планете, одновременно передавая нам бодрость, энергию жизни и внутреннее равновесие.

Ёлка приходит в дом таинственной вестницей прошлого, связующим звеном с погибающей природой, вечнозелёным воззванием зимнего леса к человеческой совести. Новогодняя наряженная ёлка по-прежнему почитаема всюду, несмотря на то, что подлинное значение, скрытый смысл ритуала давно утрачены в глубине веков. Дело дошло до того, что синтетические ёлки всё больше заменяют свои естественные прототипы. Своего рода, ёлочные роботы, суррогаты, от которых не исходит ни запаха, ни магической теплоты настоящих лесных красавиц. И тем не менее они спасают большую часть хвойных угодий от предновогодней вырубки.

Поклоняясь этому фетишу и чувствуя внутреннюю значимость обряда, тем не менее мы так и не можем уловить истинную вечно ускользающую суть.

Вероятно, для того, чтобы ёлка полностью проявила себя, открыла нам свою душу, необходимо сочетание определённых условий, пока нам неведомых. Более того, пока только маленькие дети могут воспринять душу ёлки, их мозг идеально приспособлен к контакту с ней. Позже, когда они взрослеют, остаются лишь смутные воспоминания об утраченной способности – подобно тому, как до полуугодовалого возраста малыши могут плавать безо всякого обучения, пока сохраняется врождённый природный навык.

В чём тут дело: какое-то особое излучение, слишком утончённое для наших нечутких приборов, предназначенное лишь для детского восприятия? Может быть... Думается, в ёлках заключено огромное количество древнего знания, иглы её могут оказаться своего рода антеннами, передающими это излучение, этот флюид. Достаточно посмотреть на детский хоровод у ёлки, чтобы ощутить настроение праздника или хотя бы понять, что здесь творится нечто сверх нашего разумения. А ведь так и происходит наиболее полное общение детей с ёлкой – обязательный хоровод, как бы настраивающий на определённое восприятие, одновременно усиливающий его, и в центре – передатчик эмоций, сама ёлка. О чём же может она поведать при этом? Дать программу на всю жизнь, внушить понятия о добре и зле, благородстве, любви к природе? Но если бы это было так, то разве взрослые, выросшие с обязательными ежегодно украшаемыми прелестницами, продолжали бы столь варварски рубить их на потеху?

А может, их сигналы всё-таки не доходят до назначения, и мы воспринимаем лишь эмоциональный фон? Как они ни стараются внушить нам веру в себя, достоинство, уважение и любовь ко всему живому, что-то не срабатывает и в детских душах, начинающих черстветь всё раньше в свете мертвенно-голубых всполохов магического ящика и под разрушительным воздействием всепроникающих вирусов вещизма,

корысти и ханжества? И всё же именно дети, такие беззащитные и слабые во многом другом, остаются пока самыми устойчивыми в нашем мире перед этой всепроницающей ржавчиной, разносимой взрослыми. И если сохраняется надежда прочесть таинственные послания ёлок, то только с помощью детей.

Скоро опять Новый год, будто наша планета постоянно уменьшается и вращается всё быстрее и быстрее. «Время, кретин безмерный вопит, обегая Землю». Осталось всего несколько дней, а в доме у меня снова стоит очередная жертва рождественских ритуалов, которую ещё предстоит украсить. Аромат хвои обволакивает меня, и я ощущаю тихую радость бытия и любви ко всему живому и потому всегда прекрасному.

Вероятно, её сёстры приложили в далёком прошлом колючие хвойные лапы к моему ещё детскому сознанию. Внушили нечто необходимое, но неосознанное до сих пор. Может, именно поэтому теперь я снова и снова пытаюсь перевести постигнутую однажды душу ёлки на бедный язык людей?

Я внезапно понимаю, если бы она сама могла сейчас обратиться ко мне словами, то сказала бы примерно следующее:

«Сколько же ещё будет продолжаться этот геноцид? Мы тоже хотим жить. И пользы людям принесём больше живые – ведь мы даём в атмосферу кислород, очищаем воздух, без которого вам не жить. Варварские вырубки ускоряют и ваш собственный конец! Неужели, чтобы прекратить это безумие вам обязательно нужны новые законы, декларации о наших ёлочных правах и прочее? Неужели вы не можете дать нам спокойно прожить свой век без этой дребедени?»

И я совершенно искренно обещаю:

– Это в последний раз. Даю честное слово. Пусть дети порадуются на тебя ещё несколько дней. Пусть это останется у них в памяти на всю жизнь, как у меня когда-то. И больше никогда, никогда я не буду потакать алчным ёлкоторговцам, уничтожающим зелёный генофонд. И обязательно постараюсь, чтобы другие люди поняли и поступали так же.

Но пока я смотрю на неё, и она продолжает бескорыстно одаривать меня зелёной надеждой – столь необходимой защитой от отчаяния и угроз нашего ядерно-компьютерного века.

Пиво при Андропове

Отдежурили без особых происшествий: шесть поступивших по экстренным показаниям, двое к Александру, один труп, всё в пределах обычного, но поспать почти не удалось. Словом, могло бы быть и лучше. После таких напрягов затянувшаяся на полчаса пятиминутка вконец истомила добрых молодцев. И вот наконец они на свободе. Игорь поджидал у входа в приёмное отделение, обоим хотелось попить пивка, снять ночное напряжение.

Ближайшая открытая к этому времени пивнушка представляла собой прямоугольную клетку из сваренной арматуры, обшитую ещё не снятыми с зимы фанерными листами. Они не давали возможность находившимся здесь видеть творящееся снаружи, но из-за сохранявшейся вовсе не весенней прохлады хозяин не спешил убирать ненадёжную защиту от ветра. За зиму стены оказались испещрены всевозможными автографами и подчас непристойными рисунками нетрезвых завсегдатаев. Образовалось нечто вроде лишённой цензуры графической экспозиции музея быта и общения, которую с интересом изучали новые экскурсанты и старались затем по мере сил и способностей пополнить. Такой вот срез жизни образовался за зиму. Через знакомый узкий вход приятели попали в рукотворную пещеру, две лампочки на шнурах, свисающие с низкого потолка, освещали её полумрак, но и света, попадающего через входной пролом, вполне хватало, чтобы не пронести кружку мимо рта. Несколько высоких металлических столиков, никаких стульев. Одну стену пивного загона образовывал выдавший виды обшарпанный вагончик на кирпичном основании, в котором и размещались ёмкости для вожделенного многими напитка. За стеклом на подносах выставлялись не первой свежести бутерброды, покорёженные и окаменевшие мумии рыбин в крупинках соли – от мелкой кильки до краснопёрки и воблы покрупнее. Вид далеко не аппетитный, но к дешнему пиву вполне подходящий. Общение с хозяином происходило через небольшое окошко и заключалось в обмене денег и пустых кружек на полные, иногда с указанной закуской в придачу.

Видимо, сегодняшнее открытие значного заведения состоялось совсем недавно. Только трое ребят в куртках из кожзаменителя, очень похожих на похмелявшихся студентов, уже расположились у соседнего столика. Игорь с Александром взяли по две кружки и устроились в дальнем углу. Вскоре к присутствующим присоединился потрёпанный, но прилично одетый мужчина средних лет, который бережно пронёс свою добычу к ближайшему от выхода столику, его руки тряслись явно не от проникавшей внутрь прохлады.

Они едва успели добраться до середины первых кружек, когда снаружи раздался неприятный визг тормозов. И почти тут же следом во входном проёме нарисовались трое в милицейской форме. С первого взгляда стало ясно, что они прибыли сюда не пивком побаловаться. Все трое оказались офицерами,

видно, для такого серьёзного рейда иначе и нельзя было, старшины, сержанты или прочая мелочь могли бы завалить столь ответственное задание. Краснолицый лейтенант в подпоясанном ремне с кобурой полушубке встал, перегораживая выход.

– Всем оставаться на местах! – бодро предупредил самый тучный и главный среди них в однозвёздочных погонах, явно не справляясь со своим дыханием то ли от радости при виде улова, то ли от собственного избыточного веса.

Заматерелый капитан с одышливым майором целенаправленно двинулись к бедным дежурантам, стоявшим в отдалении. «Опять какая-то кампания по ловле алкашей! Так ведь и пива выпить не дадут!» – мгновенно осознал Саша и с тоской посмотрел на стол с почти полными кружками.

– Почему вы находитесь здесь? – пронзительно глядя в глаза Игорю, обвиняюще спросил выдавший виды капитан. Тот даже не нашёлся, что сразу ответить на столь неожиданный вопрос, и только молча посмотрел на Сашку, как бы ища у него подмогу.

И тут на Александра что-то внезапно накатило, он ощутил бешеную злость (ведь действительно, пиво допить не дадут!) и распрямился под буравящими взглядами офицеров.

– А что? Уже нельзя и пива попить в свободное время после суточного дежурства?! Прикройте тогда эту лавочку! Почему она открыта?

Хозяин заведения, молодой крепкий чеченец, с напряжением наблюдал через приоткрытое окошечко развёртывание событий.

– А где вы работаете? – уже сбавляя тон, поинтересовался капитан.

– В БСМП – больнице скорой медицинской помощи.

– Водители что ли? – как бы с недоверием спросил полный майор.

– Нет. Мы – врачи! – подал голос очнувшийся Игорь.

Странно, но после этого у них даже не спросили документов. Офицеры приступили к соседям, успешным под шумок быстренько приговорить своё пиво. Но и там загонщиков поджидал облом.

Молодёжь что-то тихо и убедительно ответила на расспросы, предъявили даже документы. Саша вспомнил, что один из них подрабатывал на скорой помощи и раза два приезжал прежде во время ночных смен. Офицеры оставили троицу в покое и явно разозлённые – наверняка у них имелся план по количеству отлавливаемых нарушителей, подошли с двух сторон к растерянному и не избавившемуся ещё от дрожи посетителю за ближним от выхода столиком. Увы, он до сих пор только примеривался и так и не успел приступить к радующей его большой глаз полной кружке.

На задаваемые вопросы он отвечал невпопад, к тому же проживал, как оказалось, совсем не в этом районе. Его оправдания, будто он болеет гриппом и находится на больничном листе, не произвели на дознавателей никакого впечатления.

– В машину! – распорядился майор, хоть что-то им здесь перепало.

Лейтенант ухватил задержанного за руку, и в сопровождении двух старших офицеров они скрылись из виду. Хлопнула дверца невидимого за фанерой милицейского уазика, и затарахтел мотор отъезжавшего автомобиля.

Игорь и Саша торопливо расправились со своими кружками, посмотрели друг на друга, затем переглянулись с товарищами по приключению за соседним столиком, и вся кампания, не сговариваясь, одновременно почувствовала немедленную необходимость повторить ещё по кружке.

Тем же вечером Игорь узнал от пришедшей с работы жены Ольги, что минувший день и у неё не прошёл без приключений. Ольга работала бухгалтером расчётной части в строительном тресте. Почти каждый раз с началом обеденного перерыва они успевали бегать в близлежащий гастроном за продуктами, да и домой для семей удавалось что-то прихватить. Вот и сегодня она с двумя подружками успела пристроиться в очередь за полукопчёной колбасой, редкой гостьей на полупустых прилавках. Но когда до желаемого оставалось всего два шага и три впереди стоящих покупательницы, всех захватила налетевшая милиция. На вопрос мужа, оказались ли то офицеры, она не смогла вразумительно ответить: не до разглядывания их погон ей тогда пришлось. Всех, у кого не оказалось при себе документов и кто не смог убедительно доказать, что не должен находиться на работе этим днём, увезли в районный отдел. Про обеденный перерыв и слушать не захотели. Два часа в тёмном зале перед ними на белом экране до одурения крутили ролики о правилах дорожного движения вперемешку с документальными киножурналами «Новости дня». После чего всех переписали, чтобы сообщить по местам работы, и отпустили, естественно, добираться своим ходом.

После этого случая они долгое время не отваживались возобновлять походы в продовольственные и кулинарные магазины. Но постепенно жизненная необходимость переборолла их опасения, ведь по вечерам после работы на прилавках практически уже было шаром покати. И только отвратного качества удешевлённая водка, прозванная в народе «андроповкой», надолго осталась для кого-то единственной светлой (или затуманенной?) памятью о тех временах. Впрочем, Игорю и Александру она почему-то сразу не полезла...

В морозный февральский вечер после объявления всесоюзного траура ввиду кончины генерального секретаря ЦК Сашка со своей девушкой пил пиво на квартире у Игоря. Местное «рижское» в бутылках тёмного коричневого стекла – лучше тогда ничего нельзя было найти. Да и Москва особо не блистала ассортиментом. Даже отечественные «Портер» и «Двойное золотое» – предел мечтаний для приехавшего в столицу и не знакомые среднему жителю периферии, не попадали в свободную продажу, скорее, можно было приобрести осетровую икру.

Кроме Игоря и его симпатичной жены Ольги компанию им составляла Блинда, рослая сука охотничьей породы курцхаар. Кофейно-коричневые пятна красиво смотрелись на фоне участков белой короткой шерсти, умные блестящие глаза с укором взирали на хозяина и гостей, заканчивающих уже по третьей бутылке.

Игорь выставил на подоконник небольшой цветомузыкальный экран, завязав на нём бант из чёрной ленты. Бухающие звуки «Smoke on the water» далеко разносились в темноту, пугая ворон, устроившихся к ночи в голых ветвях сквера напротив.

«Соседи не стуканут?» – только раз обеспокоенно поинтересовался Саша. В ответ Игорь успокаивающе махнул свободной рукой, не отрываясь от поднятого высокого стакана, и молча указал на внушительный чёрный бант на фоне разноцветных вспышек в ритме хита всех времён.

Бодрящий морозный воздух вливался в оставленную неширокую щель. Всем в небольшой комнате было неплохо в этот конкретный момент, даже преданной Блинде, умиротворённо положившей морду на вытянутые лапы и с обожанием смотревшей на хозяина. Они с растягиваемым удовольствием пили непритязательное, но холодное и свежее пиво, дружно ощущая тихое счастье в масштабе этой маленькой комнаты. И никто из них сейчас не ломал голову над тем, что может быть дальше.

Станция Безымянная

«На дальней станции сойду...»

Из песни.

Станция Безымянная – вот куда бы поехать, вот что ему надо. Не просто посёлок без названия, а совершенно особенное место. И оно само, и всё, что находится там, не имеет названия. Точно известно только, что там есть и зелёная трава, и тенистые деревья. Просто трава, а не какая-нибудь «люцерна», деревья, а не клёны или дубы. Каждый, шагнув на перрон станции Безымянной, тоже становится безымянным, просто человеком, человеком вообще, а не Васей или Митей в частности. И воздух там особый, на станции Безымянной, просто воздух как воздух, вовсе не смесь сернистого ангидрида с чем-нибудь похуже, взвешенном в азоте, кислороде и двуокиси углерода. Воздух без пыли, просто воздух. И от тех дождей, что идут над станцией Безымянной, не облезет краска на заборах и домах, домах без номеров, с открытыми дверями.

И улыбки у живущих на станции Безымянной тоже безымянные, люди улыбаются там просто так, безо всякой видимой причины, не в силу обстоятельств и не из вежливости, а потому, что им хорошо. И даже облака, разбросанные по небу лёгкими штрихами или тяжёлыми клочьями ваты – просто облака, а не «перистые» или «кучевые».

Там говорят друг другу «ты» или вообще ничего не говорят, потому что почти все слова что-то да означают, что-то именуют, а там ничего не надо называть по имени, все понятно и так, без слов, как жест, как протянутая рука с открытой ладонью.

Никто не произносит там трескучих фраз и бьющих по ушам названий. Мнения там не навязывают: ими, если уж возникает такая потребность, просто обмениваются, как рукопожатиями, и от этого они нисколько не теряют своего содержания.

Станция Безымянная – вот куда бы поехать, но она не конечная, можно проскочить, прозевать в мелькании телеграфных столбов или серых буден. И когда вдруг оказывается именно так, поздно нажимать на стоп-кран. Как ему хотелось туда! Виноград там просто виноград, и вино там тоже просто вино, так же, как хлеб, так же, как молоко, и речка там тоже просто речка, как и вода, и рыба в ней тоже просто вода и рыба. Там есть колодцы, в которых вода до того вкусная и холодная, что захватывает дух, когда пьёшь. Синие вечера сменяют летом красные закаты, и падают над станцией Безымянной просто звёзды без названий, обыкновенные звёзды, увидев которые, загадывают желания.

Ночью небо там усыпано звездами, как нигде, и они так красивы, что не нуждаются в названиях, Никому не придёт здесь в голову выделить из этих россыпей семь звёздочек и назвать их «черпаком Большой Медведицы» или сделать ещё что-нибудь столь же нелепое. Вся масса звёзд, драгоценных точек, сверкает над станцией Безымянной в черноте ночи. Запахи смешиваются в ночном воздухе, как мошки под фонарём на перроне, и нельзя, просто невозможно дать какое-то название этому одному запаху станции Безымянной. В общем, эта станция – окно в совершенно другой и все же такой знакомый с детства мир.

Он рвался туда всем своим существом, подозревая, что и другие хотят того же, но не показывают вида.

Конечно же, там действуют те же законы природы, что и повсюду на Земле: направляясь туда, глупо надеяться, что окажешься в невесомости или начнёшь ходить вверх ногами. Сила тяжести там нисколько не меньше и не больше, чем в том месте, где вы находитесь сейчас, масса вещества и энергия сохраняются точно так же, как везде. Но только никому из живущих на станции Безымянной до этого нет совершенно никакого дела. Они живут, просто живут, и их, несмотря на это, никак не назовешь бездельниками. Поехать бы к ним, чтобы жить, как они, пить воду из их колодцев и делать то, что надо для такой жизни, и нисколько не больше.

Там ничего не купишь и не продашь. Вещи там просто вещи, они не утратили своей сущности, хотя на станции Безымянной нет понятия «ценности», «цены».

Только не надо думать, что булки растут там на деревьях, а куры несут исключительно золотые яйца. Конечно, нет, но земля там плодородная и чёрная и не остается в долгу пере теми, кто её обрабатывает.

Но вот что беспокоило его больше прочего: допустим, он даже доберётся до этой станции и не пропустит, не проспит и не прозевает мига стоянки поезда у ее перрона. Вопрос в другом: пустят ли его на станцию Безымянную? Откинёт ли проводник подножку и разрешит ли спрыгнуть с поезда? Может быть, она пронесётся мимо сверхскоростного поезда жизни, мигнув тусклыми огоньками в ночи? Но, нет, он не вправе так думать, он все же поедет туда, в единственно известное ему место, где каждый перерастает своё «я» и становится Человеком.

Тем страшнее осознать однажды, что ты нисколько не придвинулся к своей цели. Станция Безымянная недостижимо манит где-то вдаль за туманами и тридесятьми землями. А ты даже ещё не в поезде, а в лучшем случае, всего лишь на вокзале. И тогда надо собраться, бросить все и взять билет туда, куда позовёт Её Величество Безымянность. Скоростной экспресс рванёт тебя навстречу цели, а ты будешь в купе пить русский чай с сахаром, считая мелькающие за окном столбы, а то и рассказывать анекдоты молоденькой проводнице. Впрочем, весьма вероятно, что на её месте может оказаться особа более почтенного возраста, по лицу которой трудно будет догадаться, за кого она вас принимает. Как бы то ни было, поезд понесётся вперёд, наматывая со стуком километры на свои железные колёса.

Так он и сделал. Взял билет и сел в поезд. В окне купе поплыл назад, ускоряясь до полного исчезновения, перрон, заполненный лицами и машущими в прощании руками, но для него совершенно пустой – его никто не провожал в этот раз. Сидел, пил сладкий чай и смотрел в окно, вскакивая каждый раз, чтобы узнать, какая станция будет следующей. Понесли мимо столбы, деревья, потом поползла, развертываясь, степь, принимая в себя ввинчивающийся со скоростью поезд. Когда стемнело, замелькали за окном вспышки огоньков, исчезая позади, словно в прошлом, а зажегшийся ночник излучал ожидание.

На исходе первых суток он рассказал два анекдота проводнице, а на исходе вторых вышел на перрон станции Безымянной. Это была она и не она. Едва он ступил на столько раз снившийся перрон, как двое рабочих, подставив лестницу, полезли снимать вывеску над маленьким вокзалом, и слова «Станция Безымянная» сменились другим, более конкретным названием.

– Ваши документы, – вежливо козырнул подошедший милиционер дежурный по перрону.

– Но почему? – удивился прибывший. – Разве я не приобрел безымянность, ступив на ваш перрон? Разве эта станция не Безымянная?

– Увы, уже нет.

– Как же так? – беспомощно оглянулся на поезд, уносивший вдаль его ожидания. – Как же может так быть? Значит, все, что рассказывают о вашей станции, неправда?

– Видите ли, – вежливо объяснил полицейский, – всё, что вы знаете о бывшей Безымянной станции – сушая правда. Но слишком уж много нашлось желающих поселиться здесь. С каждым днём поток приезжавших возрастал. Возле станции вырос целый городок, вы можете в том убедиться. И вот количество переросло в качество – станция Безымянная утратила свои необычные свойства и перестала быть Безымянной как раз в момент вашего прибытия. Возможно, вы и есть та последняя капля, переполнившая чашу возможной безымянности этого места. В любом случае нам нужно знать ваше имя, отчество и фамилию. Ведь ими будут названы главная площадь и улица нового города, родившегося с вашим появлением из станции Безымянной.

– Кажется, я всё понял, – вздохнул прибывший, протягивая свои документы. – Скажите, когда будет обратный поезд?

Он посмотрел на молодого парня в полицейской форме, читавшего его документы, на маленький облезлый вокзал, на серое небо над ним, зелень садов, окружавших станцию, не сознавая ещё, что и возвращаться-то никуда не надо, потому что здесь ждало то, от чего он уезжал.

В воздухе повис перестук молотков: на домиках, подступивших к железнодорожному полотну, вешали названия улиц нового города.

Беги, собака, беги

Детский опыт метемпсихоза

Событие предстояло незаурядное, просто из ряда вон. В наш город впервые прибывал глава государства. Тот, кто занял одновременно и единолично должности Первого Секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета министров. К тому же, избавившийся недавно от главной угрозы своему правлению, по иронии судьбы и предоставившего ему этот трон – министра обороны, маршала Жукова. Короче, сам Никита Сергеевич Хрущёв, неутомимый борец за мир, пожелал осмотреть здешний рыбный край. Власти восприняли эту весть с испугом и настороженностью, едва ли не с паникой, зато рядовые жители с небывалым энтузиазмом.

Никто из предшественников нового властителя никогда не приезжал сюда доселе. Ни сам великий вождь всех народов генералиссимус, ни дирижёр Октябрьской революции и создатель Красной армии Троцкий, ставший затем врагом народа – самое близкое доезжали они до Сталинграда, в бытность его Царицыным, да и то ещё во время гражданской. Даже основатель партии и государства ни разу не бывал тут, хотя, как выяснилось значительно позже, его дедушка-калмык проживал в здешних краях.

Про визиты руководителей более мелкого масштаба история вовсе умалчивает. Лишь некоторые члены правительств прибалтийских республик после освобождения в сороковом году посетили эти края, правда, принудительным транзитом, в качестве заключённых тюрьмы, прозванной в народе «Белым лебедем». Но это также всплыло многие годы спустя.

Про царские времена и говорить нечего, не приезжали сюда хозяева земли русской.. Лишь один Пётр Первый удостоил своим пребыванием здешнюю губернию во времена персидского похода. Были, правда, ещё какие-то грузинские царьки, умершие от холеры где-то поблизости и захороненные в местном кремле, но об этом широкие массы узнали, когда с территории кремля вывели местный гарнизон и провели реставрацию того, что ещё можно было отреставрировать.

Поезд с главой государства прибывал на единственный древний железнодорожный вокзал, построенный в мусульманском стиле. Тротуары на протяжении трёх-четырёх километров пути до обкома партии старательно оградил натянутыми канатами и милиционерами в парадной форме. Толстые верёвки привязали к побеленным по такому случаю стволам растущих вдоль дороги деревьев.

Мне исполнилось тогда... Точно не помню. Но в школу я ещё не ходил. Наша квартира в доме, бывшем полицейской управой во времена царизма, выходила окнами на центральную улицу, по которой неминуемо должно было проследовать невиданное высокое начальство из Москвы.

Часа за два до предполагаемого времени приезда стали собираться зеваки, и пока их набиралось по двое-трое на каждом участке меж обвязанных канатом соседних деревьев, я несколько раз бегал наружу. Но когда бесконечно прибывавшие зрители образовали сплошную живую стену по обеим сторонам дороги, меня оставили дома и разрешили смотреть только через окно. Впрочем, высокий подоконник позволял хорошо видеть проезжую часть улицы поверх моря людских голов.

Постепенно народу набралось столько, что перед верёвочным ограждением стояли уже пять-шесть рядов. Настроение у всех царило приподнятое. В ожидании зрелища многие оживлённо переговаривались со своими знакомыми и незнакомыми соседями по толпе, смеялись, даже пытались жестиковать в этой тесноте. Стоял несмолкаемый гул, вливавшийся в распахнутое окно квартиры. Минуты ожидания растягивались до бесконечности.

Когда многие уже начали видимо изнывать от нетерпения, внезапно издалека, со стороны вокзала донёсся неясный шум, вскоре стали различимы свист, улюлюканье, непрерывное хлопанье множества ладоней. Неужели так встречают самого важного гостя? Все тянули шеи, стараясь заглянуть за стоящих впереди и не пропустить незабываемого момента. Я последовал их примеру, хотя меня удерживали сзади, чтобы не выпал из окна. Уже все на улице хлопали, смеялись, свистели и кричали что-то несурзное. И эта волна передавалась дальше и дальше. Я тянулся изо всех сил, но пока ещё ничего не происходило. И когда гвалт и свист достигли, казалось, своего предела, я увидел.

Почти ровно по центру свободной полосы дороги, что есть мочи, неслась вперёд небольшая испуганная собачонка. Как она оказалась там, случайно ли? Может быть, кто-то зло пошутил и нарочно выбросил её за ограждение? Свалявшаяся, далеко не белая шерсть с коричневыми подпалинами, уши плотно прижаты, хвост жалко подогнут – дворняжка бежала, почти пластаясь по самой поверхности мостовой. Видно было, что силы её на исходе, при малейшей попытке свернуть к тротуару свист и улюлюканье усиливались, вновь возвращая её на середину улицы. Развеселившиеся люди сбились в плотную стенку и на нашей стороне, и напротив, у собаки не имелось ни малейшего шанса проскочить меж их ног.

Поравнявшись с нашим окном, она сделала новую попытку свернуть к тротуару, и снова моментально усилившийся смех, свист и крики вернули её на среднюю линию. Затравленная псина ничего не видела, кроме нескончаемой живой стены без малейшей лазейки, изрыгающей жуткие страшные звуки, ей

ничего не оставалось, как бежать дальше из последних сил. Конечно, бедная дворняжка никак не могла увидеть меня, даже если бы подняла на бегу низко опущенную морду с далеко высунутым книзу языком. Но внезапно я как бы оказался на её месте, с удивительной ясностью ощутил животный испуг перед враждебными шпалерами двуногих. Свист, хлопки как выстрелы, улюлюканье усилились в разы, причиняя физическую боль. Лапы сами несли вперёд, нарастающий ужас и отчаянье не оставили места ни малейшему проблеску соображения. Всего лишь миг, и я снова осознал себя стоящим на подоконнике, придерживаемым сзади заботливыми руками близких. Несчастливая собака находилась уже далеко, продолжая свой безысходный бег.

Как такое могло произойти? Я запомнил этот момент на всю жизнь. Даже сейчас, давно став взрослым, иногда я вновь ощущаю себя до смерти напуганной собачонкой, бегущей вдоль враждебной людской массы, а где-то позади за мной несётся бездушная и безжалостная машина хозяев жизни. И теперь думаю, причиной подобного переживания оказалось всего лишь моё неуёмное детское воображение, результат бабушкиных сказок. Но тогда я полностью сопереживал загнанной собачке, мне было жаль её, как родное понятное существо.

Вскоре в закрытом чёрном «зиме» пронёсся, блестя безволосым черепом, дорогой гость. Сидя рядом с водителем, он вяло помахивал из окна лёгкой летней шляпой. Сзади не отставали лимузины сопровождения. И хотя за резво мчащимся кортежем катилась несмолкаемая овация восторженных жителей, никто на этот раз уже не свистел и не улюлюкал.

Иной раз я думаю, а чтобы я мог предпринять, окажись тогда на самом деле в шкуре несчастной собачонки: так и продолжал бы одурело бежать по прямой под пронзительный свист и улюлюканье в тщетной надежде найти хоть какую лазейку, пока не сдох бы в конце концов, или же бросился на живую стену в попытке пробиться прочь? И так и не могу найти ответа.



Светлана НОВГОРОДЦЕВА



Возраст – 39 лет. Работает преподавателем истории и философии в колледже искусств. Состоит в литературной студии «Ступени». Имеет ряд публикаций.

Печаталась в периодических изданиях Н. Тагила, Москвы, Кушвы. Участник поэтических марафонов в Екатеринбурге. Переведена на сербский и немецкий языки (переводчик Радмило Ристич, Сербия).

Египет. Зарисовки

Нам время песка на столетье отсыплет
Со дна кочевого, немного Востока.
И летние сборы, как бегство в Египет,
Как путь под защиту библейского ока.

Навьючены вечною смирной верблюдью.
В пороке гашишном, в бреду ароматном,
Вдали от мирской суеты и простуды,
Погонщик расскажет о чем-то невнятном.

И слабое сердце уже не остынет,
Как только подхватит нас дворик гостинный.
По пирсу пройдем до лазурной пустыни,
Оставив для Ирода север зверинный.

Мы тоже посмотрим на звезды иначе,
Под плавные ритмы неведомой речи.
А фото в обнимку небольшое значит –
Всего лишь мгновенье украденной встречи.

* * *

Под жидкий кофе, скупердяйка,
Где серый день и стирка пенна,
Моя квартирная хозяйка
Немолода и несравненна.

Ах, с бытом бой и лень пасьянса,
Ночник извечный у кровати,
Скрип запоздалого романа,
Или романа, что нехстати.

Здесь всё: и в рюшечках подушка,
И полуголая левретка,
И шевелюра в бигудюшках,
И в бледных пальцах сигаретка.

Увы, блистательная Ада,
Тот век прошел, но все не спится.
Из Александровского сада
Тоска богемная струится.

Мальчишка, игрушка, певец ресторанный.
Господь целовал, и ласкали софиты.
И ночь на износ. И кошмарец диванный –
Опять одиночества повод испытый.

Кусочек к шампанскому лакомый самый,
Хотя кровоточит обрыдлое пенье.
Глядят на него перезрелые дамы,
Смешав снисхождение и вождельенье.

Закрутит лисиц пересыщенных вьюга.
И праздник чужой – это только работа.
Потом закуток. И глаза – два испуга.
И времени дольше шабаш и суббота.

Выходит любовь из бокала вся в пене.
И в миг полузвездный и полуголодный
Приснятся мечты о сверкающей сцене
И Фрэнка Синатры Му way превосходный.

Декаданс

Декаданский, чеширский,
Кокаиново-статный.
Стиль ампира – вампирский,
Красно-черный, квадратный.

Как сеньор всемогущий,
Эфемер зазеркальный,
Не крестово цветущий,
Не медово-сусальный.

Старой Англии плесень,
Черной кошки улыбка.
Чем тот замок известен? –
Спросят лютю и скрипка.

В ритуальной истоме
Подойди брат ко брату...
Под систему в коме
Нынче наш Носферату.

Француженка, детка, кокотка,
Вельветовый мини-беретик.
Мамзель – Ренуара находка.
До легкого завтра билетик.

В Латинском квартале пробежка
По утренней желтой брусчатке.
Несложный вояж по кафешкам
И сливочный кофе, и сладкий.

Ouі. Шардоне или розы
В прозрачном как полдень бокале.
И мима притворные слезы
Французское «да» означали.

Осенью

Легко, легко, навстречу декабрю
Перемахнуть листья осенней груди.
Весь фокус в том, что я тебя люблю
И только тем, наверно, жить и буду.

Грядущее откроет пустоту,
Без права, без надежды на свиданье.
Я напишу вослед, но налету
Развоплотятся все мои посланья.

Ты будешь бесконечно далеко,
Быть может, что греха таить, в Париже.
И, только осень перейдя легко,
Я след твой заплутавшийся увижу.

Набросан маслом осени сюжет.
Монмартр оплыл по вертикальным строкам.
Художника непревзойденный след
Напомнит безутешным о высоком.

Уходит в дождь неспраздничный бульвар.
Нет четкости ни в линии, ни в цвете.
Создатель пропивает гонорар
С натурщицей в отдельном кабинете.

Любой творец в простывшей мастерской,
В мансарде, где сырая черепица.
Есть Бог благой. Под чуткою рукой
Непрошенная осень сотворится.

* * *

Солнцу ли горячо
В мутном стоять окне...
Сколько же быть еще
Нам у зимы на дне.

Дно – океанский ил,
Бездна тяжелых снов,
Донная зябь могил,
Праведных душ улов.

Если простыл очаг,
Если тоска в груди,
Если не спится так,
Спать ко мне приходи.

Сон в летнюю ночь

Слезки улитки, мышинные козни,
Бал бурундучий у нас в королевстве.
Эй, поселяне, забудемте розни!
Свадьба? – скорбим об Алисином девстве.

Это не свадьба! А дудки, волынки?
В круг лишь поганок одних насадили.
Эльфы танцуют. И к черту ботинки!
Краше Алисы не сыщешь в кадрили.

Кролики, Шляпники. Ай да гулянка!
В буковой роще кошмары Шекспира.
В буковой роще она – самозванка.
Ну и Алиса – чудачка, задира.

Сказка чужая, неужто неясно?
В летнюю ночь сон особенно краток.
Эй, не дудите селяне напрасно.
Пусть хоть поспит этой ночи остаток.

* * *

Изящество немного кабаре,
Где всяк себе бармен и господин,
Сомнамбулы творец. И в декабре
Останется за столиком один.

Феерия шампанского и сна
Запущена в рождественскую муть.
Танцуют перья, грезится весна,
Темней стекла из преисподней путь.

В просвет бокала не видать дорог.
А что видны, воистину не те.
Но поискать кораблик невдомек
В бутылочном пузатом животе.

Нисходит снег на райские сады.
Нисходит снег (что сакуры цветут).
Пустая стойка, пригоршня воды.
Стакан воды... У столика прият.

Ночь в детской

Больно детские обиды
Мучат маленькую душу.
В море зол отыщешь сушу,
Чтоб от боли отойти.
На тринадцатое – иды –
Невезения законы.
Страшно медные драконы
Бродят, бродят на пути.

Полумрак в тенистой роще
Навевает мягко дрему.
Устремись по дерну к дому,
Где гостиная в дупле.
Вор ночной – сухой и тощий,
Караулит сон и ласку
И утащит снова сказку,
Напугает в темноте.

Павел ГУЛАКОВ



Родился 5 марта 1947 года в России (пос. Узлив Орловской обл.) в крестьянской семье. В Харькове живёт с 1965 года. Образование высшее.

Публиковался в периодической печати, во многих коллективных сборниках и журналах Украины, Беларуси, России, Казахстана. Пишет стихи, прозу, занимается переводами. Работает главным редактором Харьковской областной газеты «Слово ветерана». Автор одиннадцати книг.

Член Союза писателей России и Национальных союзов писателей и журналистов Украины. Лауреат региональной литературной премии им. Бориса Слуцкого. Победитель рейтинга «Харьковчанин-2004» в номинации «Литература и искусство».

* * *

Жаль, в акварели не силён!
Стою, на холст земной глазае,
а рядом... рядом синий лён
цветёт всё ярче и смелее...

Поют всё те же соловьи.
Скрипят всё те же коростели.
Идут дожди. Звенят ручьи.
Резвятся в рощах свиристели.

Но нет покоя на душе.
Нет прежней силы и задора.
Жить, правда, можно в шалаше,
но не в хлеву, где пёсья свора
грозит открытою враждой,
где главной темой разговора:
обман, насилие и разбой...

Смотрю на ленту берегов,
что кружит, тихо удаляясь...
Вот так и я, среди лугов,
в своих обидах растворяюсь.

* * *

Ночь. Телега скрипит по дороге.
Лес застыл, притаился, затих.
Лишь река на далёком пороге
торопливо бормочет свой стих.

Глухомань да созвездий свечение...
Вздых тяжёлый срывается с уст,
будто переплелись на мгновенье
все тропинки расхристанных чувств.

Защемит на душе что есть силы.
Боль былую нескоро уймёт...
Светят звёзды, как гроздь калины,
за подводю месяц идёт...

* * *

Если спросят друзья:
«Ты богат или счастлив?»
Я отвечу им сразу: «Родные мои!
Был всегда я богат,
был премного удачлив
и не раз умирал
за грехи за свои...

Но не это мне свято,
не это мне важно!
Горько мне, что
в далёко-далёком краю
я оставил мечту,
исковеркав нещадно,
и любовь,
и надежду,
и веру свою».

* * *

Весь мир вздымался на дыбы,
звериным рыком рвался в души,
ломал могучие дубы,
кровавил стынью воды и суши.

Казалось, полчища чертей
в невероятно-жутком гневе,
в безумстве бесовских затей
сцепились насмерть в гулком небе.

Лопатил дождь седой большак.
В тугой галоп срывались кони.
Пронзительно сквозь сизый мрак
сверкал восток кострищем молний.

Не дай кому-то в непогоду
искать ключи земного счастья...
Пусть бережёт его Господь
от океянного ненастья!

* * *

Проснуться б рано на заре,
росой умыться заревою,
рассвет, родившийся в костре,
обнять горячею рукою.

Тяжелый жёрнов провернуть,
смолоть зерно и справить хлёбы.
Вина из кружки отхлебнуть
и вспомнить: где я только ни был?!

И жизнь покажется иной,
судьба метнёт на кон скрижали...
И тихо встанут предо мной
твоё лицо, родные дали.

А сердце сладко защемит
горячим чувством, изначальным,
что память грешная хранит
в аккорде грустном и прощальном.

* * *

На склоне лет,
сквозь сумрак дня,
ушедшее становится всё ближе...
Угар смиренного огня
вновь душу раненую лижет.

Твой голос...
Очертание лица...
Тону в реке воспоминаний,
где свет заветного крыльца
и радость трепетных свиданий.

Где горечь слёз...
Где грусть надежд...
Слова, рождённые в разлуке,
где так небесно чист и свеж
твой образ, выстрадавший в муке.

* * *

Шагну с широкого шоссе
в траву высокую по пояс.
И вспыхнут звездочки в росе,
в моих ладонях успокоюсь.

Июнь прядёт свою кудель.
Повсюду аромат полыни
и тешит жаворонка трель
небесный чистый купол синий.

И я, беспечный дуралей,
презрев дорог извечных прозу,
через купель ржаных полей
спешу обнять сестру-берёзу.

* * *

Когда тоска сжимает горло,
зовут к распятию грехи, –
смирю свой дурацкий гонор,
зарыться пробую в стихи.

Как добровольные вериги
мой необжитый материк, –
задуманные мною книги
и этот молчаливый крик,

в котором всё: тревога, радость,
и счастье то, что не про нас,
и поцелуев терпких сладость,
и беззащитность детских глаз...

Когда мне жизнь сжимает горло,
зовут к причастию грехи, –
своей душою непокорной
зарыться пробую в стихи.

* * *

Я грешен тем, что встречами живу,
что иногда себя стихами тешу,
что беспрестанно к совести зову,
что крест несу, как благодатную ношу.

Так кто же я? Усталый пилигрим,
бредущий с пересохшими губами?..
Или актёр, упрятавший под грим
свой стыд! Простите! Разберётесь сами.

Горчит на языке трава-полынь.
Листом багряным время увядает.
И тянет ключ в заплаканную синь
на юг?.. Или ещё куда, кто знает?..

* * *

Всё искренней я становлюсь к себе, всё строже,
встречая поутру пришедший новый день,
который видится с годами всё дороже:
чем выше будет солнце – тем короче тень...

Немало сделано, но многое не спето.
С невыпитым вином, в углу стоит кувшин.
И не досталось мне счастливого билета
в страну высоких и сияющих вершин.

Но это, – не беда! Вернусь к себе в долину
исхлёстанный ветрами вдоль и поперёк,
присяду у костра и обниму калину
и та шепнёт: «Устал? Передохни сынок».

Тамара МАРИН-КОРОЛЬ



Родилась 12 декабря 1945 года в селе Сынжерей (Молдова). Окончила Одесский технологический институт им. М. В. Ломоносова, факультет автоматизации и приборостроения.

Осень, осень...

Осень, осень, снова ты в разгаре.
Унесла вновь лето за собой,
А взамен лишь горе и печали
Нам порою за собой несёшь.

Ты уйдёшь, а за тобой зима
Овладеет нашим континентом.
Так всю жизнь, сколь буду жить сама,
Сколько будет жить моя планета.

Только мы приходим лишь на миг,
Да и то ведь из какой-то Тайны.
Лишь продышим, прожужжим... И – сник.
Каждый. Не сегодня – так однажды.

Мы живём, не думая о том,
Что придётся с жизнью расставаться.
Но не так, как Ты – придём потом.
Нам не суждено уж возвращаться...

Опавшие листья

Я вновь шагаю
По опавшим листьям.
Они не стонут,
Не кричат от боли.
Ведь им – как людям –
По ночам всё снится,
Что будут радости.
Ведь жизнь – не только горе.

А утром кто-то
Соберёт их в кучу
И – как ненужных –
Спичкой подожжёт.
Мне будет жалко их.
И станет грустно.
Ведь не услышу,
Если ты пройдёшь.

Болит меня

Раненого воробья крыло
Болит меня.

И древа ветка, что надломлена,
Болит меня.

Бутоны цветка, что не расцвёл,
Болит меня.

И Хора, что для них лишь сон, –
Болит меня.

Болит меня
Засохшая слеза.

И высохший листок
Болит меня.

Звезда, что канула, светясь,
Болит меня.

Луч Солнца, розой необъят,
Болит меня.

Болит меня
Трава под жёсткою стопою.

Болит меня
Рана, что незрима не мною.

Болит меня
Шаг,
Что дитя не свершил.

И времени миг,
Что точкой одною прерванным был, –
Болит меня.

Болит меня
Слово,
Что дремлет в груди.

И сказка,
Чьи строки от нас далеки,
Болит меня...

Наталья САВА



Родилась в Кишиневе в 1972 году. В 1989 году окончила русскую среднюю школу №4 (ныне лицей им.Титу Майореску). С 1989 по 1994 годы училась в МолдГУ на филологическом факультете. По специальности – преподаватель русского языка и литературы. В настоящее время работает в лицее «Олимп».

Мальчики

А мальчики тоже плачут
невидимыми слезами
И за сигаретным дымом
с отчаянными глазами
Скрывают души усталость,
рисуют улыбки фальши,
И тем тяжелей их слёзы,
чем старше они, чем дальше.
А утром, обняв подушку,
Бредут в лабиринтах детства,
И в снах им весь мир послушен,
И есть от обиды средство.
А мальчики тоже любят
Придирчиво, как мужчины,
Целуют чужие губы,
Не зная на то причины,
Оправдывают жестокость,
Бросают, хмят и... плачут
Невидимыми слезами.
А как же ещё иначе???

Молитва женщины

Не от ветра качаются в храме
Огоньки оплывших свечей,
А от слёз жены или мамы,
От бессонных её ночей.
От какой ошибки и боли
Уберечь не смогла до конца,
Не расскажут дорожки из соли –
Под платком не видно лица.
И летят слова покаянья,
Ей известные лишь одной.
Дал же Бог это призванье –
Чьей-то матерью быть и женой!
Она не смогла у чужих отогреться...
Она была маленькой, хрупкой, белой
В отличие от подруг,
И как её душу вмещало тело –
Все удивлялись вокруг.
Она доверяла и людям, и кошкам,

И крошки брала из рук,
Но жалобен был за осенним окошком
Клюва её тихий стук.
Она тосковала, а гордые птицы-
Самцы вертелись вокруг.
Она улетала, но возвратиться
Давно не пыталась в их круг.
Она словно вглядывалась всем в лица,
Ища его одного,
Взлетала в небо, пытаюсь забыться,
Но не забыв ничего.
И гасла надежда в маленьком сердце,
И силы кончались вдруг...
...Она не смогла у чужих отогреться
И мертвой упала из рук...

Мой мальчонка

Он во сне зовет меня: «Мамочка!»,
Робко тянет ко мне ручонки,
Ходит в «заячьих» теплых тапочках
Не рожденный мною мальчонка.
Сколько боли в груди и нежности!!!
Не сложилось в аду безденежья –
Возраст цифрой неизбежности
Давит в паспорте в день рождения.
А глаза и волосы – папины,
От любимого-обязательно!
И страданье, и боль отчаянья –
Не имею права стать матерью???
Дочь глядит в упор с укоризною,
У виска крутит пальцем старательно.
Он мне дорог еще до рождения,
Мы с ним встретимся обязательно!
...Держит руку мою и прыгает,
Кошке дергает хвост неистово,
Сто вопросов, ногою дрыгает
И глядит на мопед завистливо...
Он мне часто снится ночами,
Крепко держит своей ручонкой
И зовет меня так печально
Не рожденный мною мальчонка...

Илья БОРОВСКИЙ



С 12 лет пишет стихи и тексты к песням. Автор сборника стихов и прозы. Публикации в отечественных и зарубежных изданиях. В их числе: «Смена», «Журнал Поэтов», «Литературная газета», «Провинциальный интеллигент» и т.д. Состоит в Союзе Писателей Республики Башкортостан. Увлекается игрой на гитаре и иностранными языками.

Моросило

Небо в фонтанах,
Причудливый гений
Нити протягивал
Сквозь облака.

Ветер в своем
Неуёмном стремлении
Желтые листья
Сминал по бокам.

Небо стреляло
Таинственным блеском
И отражалось
В печальных глазах.

Серые тени
Легли к занавескам.
Замерли стрелки
На сонных часах.

Люди смотрели.
Какая-то сила
На горизонте
Ломала засов.

А над землёю
Вовсю моросило.
Так продолжалось
Двенадцать часов.

* * *

Подари мне луну на ладошке,
Этот пестрый неоновый плед,
И любви сумасшедшей немножко,
Без которой не мил этот свет.

Подари мне в коралловой дали
Танец неба и песни земли,
Нас они навсегда обвенчали,
В небеса за собой увели.

Подари мне лазурное море
И в багровом приливе закат,
Где с тобою мы встретимся вскоре
И в ночи поплывем наугад.

Страница вечных миров

Небо – поэзия света.
Песня – поэзия снов.
В целом – живая комета.
Страница вечных миров.

Бродит кругами вселенной,
Машет алмазным хвостом,
Радуя искрой нетленной
Путников в небе пустом.

Девочка бледного цвета
Землю в ночи обойдёт
И устремится с рассветом
В свой бесконечный полет.

Золото

Ударяет как будто молотом!
Это звонкое слово – золото!
Кто-то ищет в нём утешенье,
За грехи отдают на прощенье,
И на шее блестят украшенья,
Спят глаз в отраженье зеркал.

Сколько жизней напрасно измолото
В бесконечной погоне за золотом.
Это слово несло наважденье,
Погубив не одно поколение.
И когда наступало прозрение,
В этот миг человек отступал...

А кому не явилось прозренье,
Тот попал навсегда в заключение,
Пропадая уже без сомнения
На войне за блестящий металл.

Безымянная луна

Пристегните ремни!
Мы выходим в поход
На свиданье с луной без названья.

Замелькали огни,
Зарычал звездолет,
Уготовив с землей расставанье.

Задрожал фюзеляж,
Загремели болты,
Отмеряя свои расстоянья.

Мы поймали кураж,
Мы с удачей на «ты».
Нам испытать млечный путь испытанья.

Поднимите глаза,
Посмотрите вокруг,
Как земля молода и невинна.

Нас встречает гроза,
Провожает испуг,
Поглощая корабль в рутину.

Руки крепче руля,
Расступись, небосвод!
И подобно команде Ясона.

Начинаем с нуля
И выходим в полет
На луну. Где роса невесома.

Уставший человек

Я бессознательно уставший,
Я неосознанно больной,
Легко за годы растерявший
Былую статность и покой.

Мне непривычно без работы,
На нервах выжжена зола,
К спине приклеились заботы,
Душа раздета догола.

Готовы лопнуть перепонки
Под напряженьем суеты.
Без выходных. Сплошные гонки
За тенью умершей мечты.

И годы бьют прямой наводкой,
Хлестают сердце трассера.
Я заливаю раны водкой,
Скрипя зубами до утра.

Но, несмотря на злые взгляды
И равнодушные беды,
Иду туда, где мне не рады,
И сею там свои цветы.

* * *

Была охота к перемене мест,
Теперь охота к перемене тем.
Я уходил когда-то не затем,
Чтоб объявить безвременный протест.

Я выходил с поклонами на бис,
Но кожу жег кислотно-бледный свет,
С тех пор прошло совсем немного лет,
Теперь без сил плетусь из-за кулис.

Сошли на нет беспечность и покой,
Лоза души безжалостно сгнила.
Я собираю крошки со стола
Пустых надежд, махнув на них рукой.

Была охота к перемене мест,
Теперь охота к перемене тел,
Не для того я к солнцу долетел,
Чтоб отбывать пожизненный арест.

И пусть года конем несутся вскачь,
И стенки горла застилают пыль.
Былые раны ты излечишь быть,
В моей судьбе, как самый лучший врач.

Как говорил Омар Хайям

Как говорил Омар Хайям –
Свое куешь ты счастье сам,
Каков огонь, таков накал,
И сколько сил труду отдал,
Таким и будет материал,
Мудрец не лгал.

Как говорил Омар Хайям.
Во всем настойчив будь, упрямя,
Не дай вчерашним похвалам
Затмить твой разум тут и там,
Он цену знал таким вещам,
Поэт не лгал.

Не раз твердил Омар Хайям –
Не верь словам, а верь делам,
Слова на свадьбе хороши,
А вот делами не грехи.
Мудрец все знал.

И говорил Омар Хайям –
Веди учет былым годам,
Ступай по праведным следам,
Но перед тем построй свой храм,
Поэт все знал.

Цонка ХРИСТОВА



Родена е на 4 декември 1959 г. Завършила е висше образование във Великотърновския университет «Св. Св. Кирил и Методий», специалност «Българска филология». До 1988 г. живее в София. От 1989 г. живее в Дряново, обл. Габрово. Работила е като журналист; специалист «Информационно обслужване и технологии», и екскурзовод в Националния музей на образованието – Габрово, като учител в Дряново. В момента преподава български език и литература в Българския теоретичен лицей «В. Левски» в Кишинев, Молдова. От 2005 до 2009 г. е Председател на Дружеството на писателите от Габровска област. Един от редакторите на АРТ-страниците в частния габровски ежедневник «100 ВЕСТИ» и на изданието на Дружеството на писателите – Габрово – алманах «Зорница». Пише поезия и публицистика. Има издадени пет поетични книги. Носител е на над двадесет национални награди за поезия. Превеждана е в

Република Сърбия и в Република Македония. От 2011 г. е сътрудник на списанието «Корени», Куманово-Македония, където два пъти печели награда за есе. Член е на Съюза на българските писатели.

Тежест

Всяка вечер
ръцете ми се извиват –
безкрайни и уморени –
в контур на лодка без дъно,
която отчаяно плува
в море от надежди горчиво.
Всяка вечер
главата ми цвили и тропа –
тъжна и уморена –
див кон без цел и посока,
който сънува че тича
свободен, щастлив и обичан.
Всяка вечер
раменете ми се огъват –
скърцащи и уморени –
впрегната селска каручка,
с която Земята пренасям
само до новия изгрев.

* * *

Да си спомня как
босите крака се целуват
с тръните и пясъка...
Да си спомня как
косите ми се прегръщат
с вятъра и дъжда...
Да си спомня как
слънцето се връща с очите ти
в полумрака на стаята...
Да си спомня как
дните ми пеят химна на улиците,
на омразата и надеждата...
Това е внезапна награда
като зимна песен на птичка-
дългоочакваната сабя
за преклонената главичка.

* * *

Когато сълзата дойде при теб
Погълни я, както морето поглъща
тежките тромави капки
на летния дъжд.

Когато плачът дойде при теб
бори се, както детските пръстчета
с тръните на къпината,
натезала от плод.

Когато викът дойде при теб
сетивата ти,
заплетени риболовни въжета,
ще го изхвърлят от пробитата лодка
като риба на сухо.

Когато тишината легне до теб
и се затръшне вратата,
ще разплете сетивата ти
нощта с детските пръстчета.
И ще остане сълзата.

* * *

Здравей, как си?
– Оцелявам.
Всеки ден се вирам в своето слънце
и като него просветлявам,
издигам се,
и се подмладявам.
А ти?
– Оцелявам.
Всеки ден се вирам в своята сянка
и като нея посивявам,
смалявам се
и остарявам.

Молдова

И всички тези лица, омесени от светове и кръстопътища.
 И всички тези очи, с цвят на грозде и зеници от вино.
 И всички тези ръце – в едната-камък, а в другата – знаме.
 Улици и площади, мърморещи на различни езици.
 Земя като шарена черга, която нощта тъче и разплита
 докато чака слънцето да преплува небето
 и да се върне в небесната Итака.
 И езерата, ранени от гърбовете на патици, сънуващи морето,
 без да знаят, че са обречени вечно да бъдат
 господари на своите сънища, с корони от върби и свита от жаби.
 Земя, която се моли и срича. Земя, която иска и страда.
 Жена, прекрасна и многолика, с гърди пълнолуни и коси като изгреви.
 с пазви, ухаещи на топъл хляб и мляко.
 Пулсът и подскача в неравноделни тактове.
 Нозете ѝ не докосват земята, а стъпват по облаци.
 Всяка сутрин краката ми танцуват с нейния ритъм,
 ръцете ми повтарят крилата на вятърни мелници.
 А нощем в съня ми пърхат гълъбите,
 покрили със сребро дланите на случайния минувач
 приседнал да отдъхне на пейката в парка.
 Те кълват живота ми ден след ден, час след час, миг след миг...
 И пият светлина от душата ми.

Пазар

Просякът,
 слепият просяк
 който протяга ръка за милостиня
 на ъгъла,
 прилича на купчинка пепел,
 след буен пожар оцеляла.
 Казва, че не е сляп по рождение.
 Светът постепенно се е смалил
 до размера на тъмнината
 и оцеляването.
 Сега той го опитва,
 чрез допира на случайни ръце.
 Чува само шум на коли,
 тропот на разярени или уморени крака
 и звъна на монети, богати роднини
 на сълзите и дъжда
 Нощем от очите му извират
 ливади, зелени като надежда.
 И буйни коне препускат по тях,
 необяздени. Газят ароматни цветя,
 превземат огнени залези
 и от реки, тъмни и сладки
 като есенно вино
 пият вода.
 Нощем просякът «вижда» слънца и звезди,
 невидени от никого,
 забравени някъде в затвора на спомена,
 само негови. И любов – крехка и нежна,
 оцеляла, защото е сън.
 А когато денят – разярено и гладно животно,
 започне да го души и облизва,
 той опипом се вкопчава
 в рунтавата му воняща козина
 и денят го пренася там, на обичайния ъгъл,
 където слънцето и луната
 си подхвърлят живота като топка.
 Веднъж го попитах, как си представя света,
 а той ми отвърна – като пазар на добитък

Залез

Обичам мъж, който залязва красиво.
 Той е стражът на райските порти
 и шепите му са пълни с копнежа
 на всички, обичани и опростени от него.
 Мъжът, който залязва красиво
 е естествен като внезапния дъжд,
 след обичайното палещо слънце
 за пустинята, неродила оазиса.
 Като цвете, пробило стените от камък и стъкло
 в гората от небостъргачи,
 за да ни спомни какво е гора
 и колко ни липсват зелените ѝ очи,
 ароматът на есенни полуизгнили листа,
 прегърнати от рохкава пръст.
 Този мъж е ненатрапчиво нежен
 Той не грее, но свети и топли –
 смугли камъни са ръцете му-
 здрави, силни и нежни паяжини.
 С тях можеш да си построиш дом,
 да оградиш сърцето си и да посадиш
 здравец върху зида – по който
 да пробягват гущерчета самодоволни.
 В едната му ръка изгрява слънцето,
 което оцветява бузите на морето в червено,
 а върху другата луната пише стихове
 и от пръстите извира вълни от музика.
 Аз всяка нощ в прегръдките му изгрявам
 пълнолунно и тайнствено – той ме преоткрива,
 както детето света – който ражда и убива.
 Не ми трябва минало – той е вечен и древен-
 античен герой и зъзнец трубадур
 под балкона ми – оживял от молитвите му.
 Не ми трябва поезия – думите са ненужни
 където в един миг животът проговаря
 с мълчание, жест, усмивка, докосване...
 Мъжът, който залязва красиво
 е метафора на дните, синекдоха на нощите
 и един знак на безсмъртие –
 с очи на вълк единак
 и сърце на кошута.

* * *

Ето как рухва светът ми:
 Първо-птиците отнасят покрива –
 керемидата по керемидата...
 И прозорците стават излишни.
 После започват да свиват гнезда –
 съчка по съчка...
 И слънцето става излишно.
 След това с пълно гърло редят
 песен след песен...
 И думите стават излишни.
 Най – накрая птиците
 отвяват с крилетата си целия дом –
 тухла по тухла...
 И аз оставам. Излишна.
 След време някой ще разгадае кодовете
 на градината с цветята и подивелите ягоди –
 камък по камък...
 Но няма да открие нищо –
 нито кости, нито сърце, нито думи...
 С тях птиците още хранят децата си.

Мария СИМОНОВА



Родилась в 1995 году в Воронежской области, г. Семилуки. Стихи пишет с детства. В настоящее время ученица 11-го класса.

* * *

Доверие, как ровный лист бумаги,
Измялось и не выровнишь уже.
На нём ещё вдобавок написали:
«Не верим больше мы твоей душе!»

Кричишь и плачешь, стоя на коленях,
Так много слов бросаешь сгоряча,
Вымаливаешь слёзно ты прощенье,
Раскаяние слышится в речах.

Как низко выглядишь сейчас ты перед теми,
Кого неоднократно предавал.
Подумал ты о будущем в то время,
Когда искусно ложь им сочинял?

Ведь для тебя захлопнуты все дверцы,
В их душах место пустоте.
И стонет окровавленное сердце,
Ты виноват – будь в вечной мерзлоте.

* * *

Я не страдаю безумием,
Им наслаждаюсь, живу...
К чёрту благоразумие,
Оно завалилось в углу.

Снова послушав Земфиру,
Строчку под нос напую,
Снова назло всему миру
Сяду и закурю.

Кто меня жить заставляет
Тихо в своей скорлупе?!
Вновь меня грусть наполняет,
Сети в её глубине.

Мне же давно так привычно
Жить от зимы до зимы.
Наедает частично
Быть вдалеке от судьбы...

* * *

Я пишу свою жизнь на листах,
Как же это, пожалуй, нелепо!
Есть мечта – позабыть о часах,
Что веками так тикают слепо.

И зачем нам считать времена,
Чтоб измерить свою безысходность?
Чтобы знать, когда выйдет луна?
Сколько длится твоя безнадежность?

На запястье у каждого вижу часы...
Их острые стрелки, как копыя...
Мне впиваются в душу, как взор сатаны,
Что следит и следит исподлобья...

* * *

Внутри замерзают люди,
Как думаешь, почему?
Измеряют чувства в валюте,
Все один к одному.

Сердце своё очистив
Кое-как через фильтр,
Я возвращаюсь быстро
В жизненный диафильм.

Что ждет меня сегодня?
Важное или нет?
В теле моём есть копыя,
Но не задет скелет.

Одиночество – это выход.
Только себе доверять,
Душу свою навыкат
Не выворачивать.

Я привыкаю быстро –
В этом мне повезло.
Я теперь пейзажистка
Мира лишь своего.

* * *

Да когда же всё это закончится,
И имеет ли это конец?
Я брожу вавилонскую блудницей
Между этих ослепших сердец.

Изначально был мир совершенный,
Что потом-то свершилось с ним?
Ошибались, что он неизменный,
А теперь каким стал дорогим...

Все поступки людей под вуалью
Не сравнять и не спрятать, увы.
Отдаю всё же дань зазеркалью,
Где хранятся людские мечты...

* * *

С тобой же можно ведь «на ты»?
Пусть ты и вполтину старше,
У нас похожие мечты,
И в душах нет занудной фальши.

Ты говорил о море мне,
О красоте и о природе,
И о душевной пустоте,
Об окрыляющей свободе.

В тот день смогла поверить я
В то, что бывают рядом души,
Сбылась тогда мечта моя
Ведь стала я кому-то нужной.

Тебе готова посвятить
Свои стихи и песни,
Теперь я знаю – стоит жить,
Я не останусь в этой бездне.

* * *

Любовь испортили поэты,
Они её превознесли,
И их слова, как силуэты,
Вставляли будто из земли.

Они её боготворили,
Писали нежно, как могли,
Тем самым лишь её убили,
А говорили, что спасли.

Потом же сами убеждались:
Любовь ещё и боль несёт!
И перед нею унижались,
Но кто её теперь спасёт?

Любовь нас режет без наркоза,
Её ведь не отпустишь ты,
Она внутри, как яда доза,
Что разобьёт твои мечты.

* * *

Ни по кому не скучаю
И никого не люблю.
Еще один вечер с чаем
Вместе я проведу.

Он уже слишком холодный,
В нём отражается свет
Лунный, такой свободный,
С ним у меня тет-а-тет.

Ветер в закрытые окна
Будет стучать, бесконечный,
Больно ему, безусловно,
Но я, увы, бессердечна.

* * *

Тонкие пальцы ломаются светом,
Я не знаю, куда мне идти.
Может, подскажешь, где есть ответы,
Или мне их никогда не найти?

Быть может, где-то, где я не искала,
Есть те ответы, ты их нашёл...
Или всё время я их пропускала?
Что ж... подожду, мой момент не пришёл...

Сквозь темноту, может, есть пути к свету.
Скованы мысли, гудят провода.
От тишины не дожидаться советов,
В сердце твоё не идут поезда...

* * *

Я прошёл мировую войну,
А теперь собираю бутылки,
Потерял в тылу дочь и жену,
Был в плену и во вражеской ссылке.

А теперь я так беден, так стар,
Но не жалуюсь, хуже бывало,
Государственный подлый обман
В новом веке меня ожидал он.

Мне под сто... и я греюсь свечой,
Да, свечой, мне и нечем-то боле,
И давно всё пропахло мочой
В моем ветхом, разрушенном доме.

Полегло сколько нас за Отчизну,
А теперь никому не нужны,
Но кто выжил, сказал: «Нет!» фашизму,
А теперь вовсе мы не важны...

Прихожу я, меня прогоняют,
Снова спутав с соседним бомжом,
Не могу больше я, убивают
Государственным же платежом.

Светлана СУПРУНОВА



Родилась в 1960 году в г. Львове. В 1985 году по направлению военкомата уехала в Афганистан, в медсанбат провинции Баграм. Вернувшись через три года, поступила в Калининградский государственный университет на филологический факультет, параллельно училась в Литературном институте им. М. Горького на заочном отделении. С 1995 по 2000 год проходила воинскую службу в Таджикистане, затем девять лет работала старшим литературным редактором в издательстве «Янтарный сказ» (г. Калининград), сейчас – начальник редакции научного журнала Калининградского государственного технического университета. Печаталась в отечественных и зарубежных изданиях, лауреат Международных конкурсов «Литературная Вена-2012» и «Согласование времён-2012» (Германия), член Союза писателей России, автор трёх поэтических сборников.

Дай бог

**Дай бог не вляпаться во власть
И не геройствовать подложно,
И быть богатым, – но не красть,
Конечно, если так возможно.**

(Евгений Евтушенко)

Дай бог не обижать жену,
Прощенья всем, кого обидел,
И если что-то умыкну,
Дай бог, чтоб кто-то не увидел.

Дай бог судье на лапу дать
И верить: всё в суде уладят,
И дальше книги издавать,
Конечно, если не посадят.

Дай бог, чтоб срок был небольшой
И впрок тюремная котлета,
Чтоб быть поэтом, – но с душой,
Достойной звания поэта.

Начитавшись классиков

**Я бы мог, наверно, жить иначе.
Будто лёд, кремнистый путь блестит.
Не жалею, не зову, не плачу –
И звезда с звездой говорит.**

(Лев Котюков)

Выхожу один я на дорогу,
Пишется неплохо при луне.
Допишусь до книги понемногу.
Дай же, Джим, на счастье лапу мне!

Вроде бы зима, – а дождь и слякоть,
Прячу шею в тёплое кашне.
Ох, февраль! Достать чернил и плакать,
Вспомнив Гюльчатай и Шаганэ.

Молния ударила, сверкая,
Но её в стихах не восхваляю.
Я люблю грозу в начале мая,
А зимой, поверьте, не люблю.

А ещё, друзья, люблю культуру,
Только книг приличных не достать.
То-то и печатают халтуру,
Что умом Россию не понять.

Превосходство

**Когда, раздвинув остриём поленья,
Наружу выйдет лезвие огня,
И наваждение стихосложенья
Издалека накатит на меня...
Я вспоминаю лепет Пастернака.**

(Сергей Гандлевский)

Когда свой томик трепетно беру
И с ним ложусь в тенёк под куст малины,
То вспоминаю всякую муру –
Сюсюканье Цветаевой Марины.

Когда автограф с важностью даю
И еду на побывку в Комарово,
То вспоминаю, как галиматью,
Сухое бормотанье Льва Толстого.

Когда на свадьбе через тёмный сад
До ветру будем бегать мы, слабея,
То мы поймём, что пили суррогат,
И вспомним стих Гандлевского Сергея.

Гастрономическая география

**Я бы в Томске томился,
В Туруханске струхнул,
На окно бы косился,
Опустившись на стул.**

(Александр Кушнер)

Города изучаю
И жую беляши.
Я в Сахаре бы чаю
Насластил от души.

Съем я в Тете тетерю,
Выпью в Були бульон,
Я по атласу сверю
Свой дневной рацион.

В Гусь-Хрустальном румяный
Будет ждать меня гусь,
Я на стул, словно пьяный,
Тяжело опущусь.

Съев в Салайне салаку,
По стихам загрущу,
А пока Титикаку
Я на карте ищу.

Муки творчества

**Всё мир я спасаю, всё духом скорблю.
Как сбросить мне эту обузу?
Я каждую ночь своим сердцем кормлю
Свою сумасшедшую музу.**

(Николай Зиновьев)

Тревожные мысли по кругу неслись,
На глобусе выцвели краски.
Спасительных строчек, поди, заждались
В Гвинее, Мали, на Аляске.

Я грыз карандаш, я зачёркивал вздор,
Но муза явилась – о чудо!
И, видя голодный, блуждающий взор,
Я выложил сердце на блюдо,

Печёнку, кишечника пару мотков,
Отрезана правая почка.
И вот не осталось уже потрохов,
А только одна оболочка.

И гладила муза свой круглый живот,
Мне с хищницей не было сладу,
И чтобы её подзадорить на взлёт,
Я музу пошлёпал по заду.

Она натянула короткий подол,
Взмахнула крылами, зарделась –
И рухнула тут же на письменный стол:
«Прости меня, Коля, объелась!»

Реминисценции

**Здесь колдуну беду пророчат
И память держат без огня,
Здесь всё равно меня растопчут
Копыта медного коня.
Здесь небеса белеют мутью,
Повсюду бродит ОРВИ...**

(Михаил Анищенко)

До святков дотяну едва ли,
Весь побледнел, озноб уже.
«Ты будешь жить, – врачи сказали, –
Но только сделай БЦЖ».

Не сплю, ворочаюсь в кровати,
Белеют чем-то небеса,
Нева чернеет чем-то, кстати,
И всей-то ночи – полчаса.

Ветра, ветра, меня заносит.
Я в БДТ – а там «Ромэн»,
Цыганка мило ручку просит.
Уйди, лукавая Кармен!

Всё как-то сразу: эта речка,
И эта крепость, и т. п.
Бросаю гневное словечко,
Я возмущён как член СП.

О город, страшный и зловредный!
Покоя нет ни тут, ни там,
Ещё и всадник этот медный
За мной несётся по пятам.

Бегу и плачу безутешно,
Чем вызываю интерес,
Реминисцирую, конечно.
Ну, что б я делал без А. С.*?

Подлая душа

**Казалось, нехитрое дело,
Однако, дурак я большой:
Она предложила мне тело,
А я отозвался душой.**

(Кирилл Ковальджи)

До полночи свечка горела,
И будучи смелой весьма,
Холёное гладкое тело
Она предложила сама.

Взяла простыню, одеяло,
Во всём был покой и уют.
Кровать застилая, сказала:
«Делов-то на пару минут!»

Я начал уж было сдаваться,
Шнурки развязал не спеша,
Но – надо же этому статьсья! –
Во мне взбунтовалась душа.

И, как в заколдованном круге,
К двери отступил я на шаг
И строго ответил подруге:
«Прости, без любви ну никак!»

Снискал я недобрую славу,
В душе оставался же шрам:
Ведь мог бы, дурак, на халяву.
Да ну эту душу к чертям!

* Александр Сергеевич Пушкин

ДОЛЖОК

**Приходи ко мне утром во вторник,
Я тебя угощу, чем смогу,
Подарю поэтический сборник
И, конечно, останусь в долгу.**

(Максим Замшев)

Ты пришла ко мне утром во вторник,
Я тебя привечал-угощал,
Подарил поэтический сборник
И стихи до заката читал.

Ты мне сунула старую смету,
Взял я лист пожелтевший, гляжу.
«Дорогой, я хожу не к поэту,
Я к тебе за другим прихожу».

Четверть часа сидела ты в ванной,
Потереть себе спину звала.
Ты была необычной и странной,
Подозрительной даже была.

Ну а после ты бросила фразу:
«Во дворе разгулялась пурга.
Ты верни мне сегодня и сразу
Три субботы и два четверга».

Раздумья поэта

**Едва шелестели кроны,
кичились морями карты,
Над стылой землёй безгласой
почудился Божий глас...
А это всего лишь тронул
какой-то пацан моцартовый
Разлив чёрно-белых клавиш,
и боль потекла из глаз.**

(Анатолий Аврутин)

Почудился голос тайный,
и вот понесло куда-то.
Поэт, на пляжу лежатель,
подумал в какой-то миг,
Что дар его не случайный,
что мыслит тургеневато,
Могутый и великатель,
однако, родной язык!

Блоха и таракан

**Вчера на кухне таракана я поймал,
Поднял за ус его брезгливо над диваном.
Хотел убить... Но посмотрел в глаза
Он мне с укором странным и пространном.**

**Я посмотрел в глаза его тогда
И понял, что под корочкой хитина
Скрывается особая среда
Интеллигентного, печального мужчины.**

(Алексей Кашеев)

Я чай хлебал и ел варенье.
Тут, уважительно тиха,
Как мимолётное виденье,
Явилась на столе блоха.

Была беременна и в транс.
О этот безнадежный вздох,
Ах, эта ножка в реверансе!
Мелькнуло: жаль, что я не блох!

Я понял суть её печали,
Ведь я поэт, а не чурбан.
За блюдечком усы торчали –
Вот он, виновник таракан!

Я подтолкнул его к подруге,
«Совет вам да любовь», – сказал,
Но он попятился в испуге, –
Мол, кто такая? Ну, нахал!

Я кончил стих, доел варенье.
Редактор, видно, был козёл,
Коль, прочитав моё творенье,
В санэпидстанцию пошёл.

Откровение

**А поскольку дворянства нету
И пред Господом все равны,
Как талантливому поэту,
Мне на Родине нет цены.**

* * *

**Читал мои стихи и плакал,
Печаль не в силах превозмочь.
Спать не давал своим собакам –
Стихами их травил всю ночь.**

(Евгений Семичев)

Не надо бунтов и огня,
Всё проще и виднее глазу,
Однажды прочитав меня,
Дворяне вымерли бы сразу.

Перо на то и есть перо,
Чтоб сразу в сердце ядом века,
Глаголом обожжёт нутро,
Глядишь, и нету человека.

А тут, устав от разных дел,
Сосед по даче, выпив лишку,
С тоской в глазах у будки сел,
Раскрыл подаренную книжку.

Не знал, всплакнувший над строкой,
Что твари строки не во благо,
Стоял такой истощный вой,
К утру преставилась дворянга!

Не от морозов и жары
Не от того, что плох Создатель,
Подошли даже комары.
Я так скажу: живуч читатель.

Светлана БУРКА



Зима

Хлопья падают, резвятся.
Сказка рядом – посмотри:
Разноцветною гирляндой
На деревьях снегири.

Белой пудрой присыпает
Все дорожки и дома.
Ни тропинок не видно,
И замерзла вся река.

Напевает тихо вьюга:
«Отдохни, зима-подруга!
Из снежинок – вот подушка,
Одеяло, спи, подружка.
Чтоб не слышать ветра вой,
Снегом голову накрой».

Ленивый кот

Наступили холода,
Печка топится с утра.
На лежанке кот лежит,
Очень громко он сопит.
Лишь под утро кот пришел –
Не тревожьте его сон.

Воробей

Чик-чирик, чик-чирик –
Сам певец наш не велик.
Распевает он с утра:
«Жизнь прекрасна, хороша!

Чик-чирик, чик-чирик!
Он грустить уж не привык.
Даже в стужу и мороз
Не заплачет он всерьёз.

Улетели, как всегда,
Птицы в тёплые края.
Только серый воробей
Верен родине своей.

Белочка

В зимнем лесу я белочку встретил
В шубке своей, ну просто краса!
Рыжая белочка, хвостик пушистый –
Может, из сказочки ты к нам пришла?

Машенька

Ножками топ-топ,
На дворе у нас снежок.
Саночки мы взяли,
Машу покатали.

Не устали мы ничуть,
Ты согреться не забудь.
Ножками топ-топ,
Ручками хлоп-хлоп.

Не страшна теперь зима –
Машенька согрелась!
Ты слепи снежок сама,
Вот и к нам пришла зима.

Снег ты видишь первый раз,
Ты довольная сейчас.
Щёчки так твои горят,
За тебя всё говорят.

Очень нравятся тебе
Снег, снежинки на дворе.

Серый волк

По полю рыщет серый волк:
«Где ж мне найти добычу?
Кругом все стежки замело,
Дорожки не разыщешь.
Придётся мне голодным спать,
Вот невезенье прямо».
Ты злой, сердитый серый волк –
Вот так тебе и надо!

Первый снег

Падают снежинки тихо за окном.
Вновь зима настала, искрит всё серебром.
А на печке кошка дремлет тихим сном.
Просыпайся, Мурка, погляди кругом,
Как снежок летает, вот собака лает,
Сердится не зря, первый раз встречает зимушку она.
Ловит все снежинки языком своим.
«Откуда вы летите?» – лает она им.

Новый Год

Перед самым Новым годом
Дед Мороз пришел в наш дом.
И в такую непогоду он стоял с большим мешком.
Дед Мороз устал, наверно,
Потому что у него были валенки такие,
Даже больше самого.
Поприветствовал ребят,
Он открыл им свой мешок,
А оттуда белки побежали к нам в кружок,
И потом зайчата прыг-скок из мешка,
Танцевали с нами вместе до утра.
Угощали чаем их и печеньем вкусным.
А зайчата нам сказали: «Чтоб морковки лучше дали
Да капусты пожевать».
Ну скажите, как же можно нам гостей таких понять?

Снеговик

Саночки свои взяла и на улицу пошла.
А на улице зима, лепят все снеговика.
Я к ребятам подошла, тоже им я помогла.
Улыбнулся снеговик: «Вы меня слепили вмиг.
Получился я большой и весь кругленький такой.
На ночь к вам пойду домой, вы согласные со мной?
Ночью страшно одному, к кому первому пойду?»
На меня он посмотрел, подбежал и в санки сел.
«Ты вези меня к себе, очень нравиться ты мне».
Рада тоже я была – друга верного нашла.
Угощала, как могла, чай горячий налила.
Долго чай сидел он пил, головой своей крутил.
«Ой, какая красота – буду жить я тут всегда».
Весело он так сказал и тихонько таять стал.
Утешала его зря, даже плакала сама.
Он растаял всё равно – не поверит мне никто!
Завтра что я всем скажу – только лужу покажу.

Зимушка- зима.

Здравствуй, зимушка-зима!
В гости ты опять пришла.
Застилает всё кругом
Белым-беленьким снежком.

Веселится снеговик, у дороги он стоит,
Долго машет всем рукой: «Посмотрите, я какой!»
А прохожие спешат, но у них счастливый взгляд.
Подмигнут снеговичку, улыбнутся на ходу.

Даже маленький щенок всё крутился возле ног,
Не хотел идти домой, катался с горки ледяной.
Всё облизывал свой нос, может, просто он замёрз?
Лаял громко и скулил, поиграть всех с ним просил.

Галина ЗЕЛЕНКИНА



Янек и Бася

На вершине холма был старинный город, окруженный высокими крепостными стенами. Близ одной из стен, буквально в ста метрах от неё, стояла ветхая лачуга, в которой жил старик Янек. Вы спросите, кто такой этот Янек, и вам ответит любой обыватель, что Янек – обыкновенный горшечник. Но не спешите верить чужим словам. Давно замечено, что именно в простоте и обыкновенности заложено нечто гениальное. И выражение «всё гениальное просто» возникло не само по себе. Но люди не любят не похожих на себя созданий божьих, поэтому сочиняют про них небылицы. От страха или от зависти, не важно. Бог им судья!

Нравится вам или не нравится, но по описаниям очевидцев правда жизни Янека была нелицеприятна.

Горшечник был таким бедным, а его лачуга такой ветхой, что горожане сторонились их, словно боялись заразиться болезнью, которая зовётся нищетой. Только одна сирота по имени Бася жалела старика и иногда приносила ему кусок хлеба с сыром и луковицей, что давала хозяйка ей на ужин. Не слушая возражений Баси, Янек делил еду пополам, и они молча ужинали, запивая каждый кусочек родниковой водой. Пожелав старику спокойной ночи, девочка убежала к хозяйке. Но чаще всего Бася оставалась без ужина, так как хозяйка просто-напросто забывала про девочку.

Старик Янек жалел Басю и понимал, что она от доброты сердечной отдаёт ему последний кусок хлеба с сыром, обрекая себя на добровольное голодание. И этого он допустить не мог. Поэтому, несмотря на то, что его руки со скрюченными пальцами уже не способны были, как раньше, лепить красивые кувшинчики, миски и чашки, горшечник решил сделать Басе подарок.

Когда девочка в очередной раз не принесла ужин, Янек стал собираться в путь. Он положил в мешок смену белья, кувшинчик, кружку, два сухаря и необходимый для работы инструмент. С первыми лучами солнца старик вышел из лачуги и по едва заметной тропочке спустился по склону холма в долину.

- Давно я здесь не ходил, – произнёс вслух Янек, и эхо ответило ему.
- Дил, дил, дил! – разнеслось по всей долине.
- Перестань! Не до шуток мне сейчас, – попросил горшечник, и эхо замолчало.

Недалеко от ручья, что стекал по склону холма в долину, находился овраг, где у Янека была заветная яма, на дне которой можно было увидеть голубую и розовую глину. Её было так мало, что не хватил ни на кувшинчик, ни на чашку. Но зато вполне достаточно для хорошей свистульки. Старик присел на лежащий возле ямы плоский камень и задумался. Сколько мешков с глиной перетаскал он из ямы в лачугу, теперь уже и не вспомнишь. Годы идут, времена меняются, и спрос на глиняную посуду практически пропал. Разве что какой-нибудь коллекционер или любитель экзотики приобретал у горшечника по сходной цене кувшинчик или кружку. В моде стала металлическая посуда, она не бьётся и долго служит. Так прогресс лишил Янека работы.

Но мир не без добрых людей. То угольщик поделится с горшечником платой за проданный уголь, то дровосек принесёт вязанку дров, а то и пекарь раздобрится на пару булок. И всем им, дары приносящим, Янек в ответ дарил глиняные кружки. Спустя некоторое время по городу прокатилась молва о том, что пить воду из глиняных кружек приятнее и полезнее для здоровья. И горожане скупили у Янека весь запас глиняной посуды. С тех пор прошло десять лет. Глиняные кружки оказались настолько прочными, что до сей поры ни одна не разбилась. Очевидно, всё сделанное на совесть хранится долго.

Как бы там ни было, но давно известно о том, что бедные люди чаще помогают друг другу выжить, чего нельзя сказать про богатых. У них свои правила игры, поэтому у большинства богатеев срок жизни короток.

Думай, не думай, но из дум каши не сваришь! Пора и за работу приниматься. Янек с трудом спустился в яму и набрал горсть голубой и горсть розовой глины. Держа глину на вытянутых руках, старик думал, как ему выбраться из ямы. Словно подслушав его мысли, дно ямы стало подниматься. Янек дождался, пока оно окажется на уровне земли, и шагнул к камню. Он оглянулся, чтобы проститься взглядом с ямой, но той уже не было и в помине. На том месте, где прежде была яма, расстился ковёр из голубых незабудок и розовых колокольчиков.

- Добрый знак! – сказал Янек, и эхо согласилось с ним.

– Так, так, так! – услышали все обитатели долины и воспрянули духом. Приятно же думать, что твоё «не так» вдруг превращается в «так».

Горшечник освободил ладони от глины, положив её на плоский камень, и, достав из мешка кувшинчик, направился к ручью. Подойдя к ручью, он послушал журчание воды, перекатывающейся с камня на камень. И улыбнулся. Когда Янек наклонился к воде, чтобы наполнить кувшинчик, то не увидел своего отражения в воде.

– За волшебство надо платить, – услышал он за спиной незнакомый голос. Старик оглянулся, но никого не увидел.

«Наверное, это ветер пробежал по веткам кустарника, а мне и почудилось», – подумал он и медленными шагами пошел назад, к камню. Подойдя на расстояние вытянутой руки к кусочкам глины, Янек брызнул водой из кувшинчика сначала на розовую глину, а затем – на голубую.

– Сила воды напитай землю! – трижды произнёс горшечник, прежде чем стал тщательно разминать глину. Когда глина стала однородной и податливой, он вылепил из неё двухцветную свистульку, а именно: с одной стороны она была розового цвета, а с другой, – голубого.

– Вода и ветер в голубом цвете, а розовый цвет – солнечный свет! – трижды повторил Янек, глядя попеременно то на свистульку, то на небо.

– Чего ты хочешь? – послышался голос, который старик уже слышал у ручья.

– Я хочу, чтобы сирота Бася, для которой я сделал эту свистульку, могла вызывать дождь, подув в свистульку с голубого конца, или солнечный свет, подув в свистульку с другого конца. Ручаюсь, что делать всё это она будет во благо людям, – ответил Янек.

– Хорошо! – послышалось откуда-то сверху. – Пусть будет так, как ты хочешь. Свистулька будет начинаться Басе и всегда возвращаться к ней, чтобы с ней ни случилось. Девочка заслужила благодати. А ты придешь ко мне через год.

Янек взглянул на небо, но, кроме мелькнувшего в облаках луча света, ничего необычного не увидел. Пока горшечник разговаривал с невидимкой, кто-то высушил свистульку и покрыл её лаком. Янек взял свистульку в руки и с удивлением заметил несколько дырочек на ней.

«Чудеса, да и только!» – подумал он.

– Дедушка Янек! Возьмите меня с собой! – услышал старик детский голос и, повернув голову на звук, увидел бегущую по склону холма Басю.

Когда запыхавшаяся от быстрого бега девочка подошла к плоскому камню, горшечник достал из мешка два сухаря и кружку. Он протянул Басе сухарь и кружку с водой, налитой из кувшинчика. Сам же стал пить воду прямо из кувшинчика и с каждым выпитым глотком чувствовал, как силы возвращаются к нему.

– Дедушка, ты стал такой красивый! – воскликнула Бася. Янек взглянул на девочку, да так и застыл с открытым ртом. Вместо голенастой девчонки он увидел семнадцатилетнюю красавицу с удивлёнными глазами и открытым ртом.

– Пойдём к ручью, – только и смог вымолвить горшечник и резво вскочил на ноги. Прибежав к ручью, он долго разглядывал своё отражение в воде и догадался, почему прежде никакого отражения не видел. Девушке очень нравилось собственное отражение в воде, она крутилась так и этак, разглядывая себя в новом облики. Вдоволь налюбовавшись на себя, Бася взглянула на Янека, назвать которого дедушкой язык не поворачивался. На вид горшечнику можно было дать не больше сорока лет.

– Янек, а что нам теперь делать? – задала она вопрос горшечнику. – Нас в таком виде никто не узнает.

– Мы не вернёмся в город, – ответил Янек. – В конце долины у высоких гор есть селение, где живут добрые люди, мы пойдём к ним.

По дороге горшечник рассказал Басе о свистульке. Он протянул девушке свой подарок. Бася повертела в руках свистульку и, желая проверить её в действии, подула в голубой конец. Небо потемнело, поднялся ветер и хлынул дождь, вымочив до нитки Басю и Янека.

– Подуй в розовый конец, а то мы простудимся и заболеем, – попросил Янек, и Бася несколько раз дунула в свистульку. Дождь разом прекратился, и выглянуло солнышко, которое быстро обогрело путников и высушило на них одежду.

– Никогда не дуй в свистульку без необходимости, – сказал горшечник. – Отныне ты и свистулька будете помогать селянам в выращивании урожая, а они тебя будут кормить за это. Вот такой тебе от меня подарок.

– А если будут давать деньги? – поинтересовалась Бася.

– Если хотя бы раз окажешь людям помощь за деньги, волшебная свистулька превратится в обычный свисток. Всё, что даётся свыше, должно служить людям, не требуя платы взамен.

Селяне приняли путников гостеприимно, накормили и предложили временное жильё, пока Янек не построит для Баси дом. Узнав, что девушка обладает даром менять погоду, старейшины селения попросили Басю вызвать дождь.

– Уже три дня палит солнце, растения вянут от жажды, – пояснил главный старейшина.

Бася кивнула головой в знак согласия, вынула из кармана свистульку и подула в неё три раза. Вдруг налетел ветер, солнце спряталось за неизвестно откуда появившуюся тучу, из которой хлынул проливной дождь.

– Достаточно! – замахал руками главный старейшина, увидев, как ручейки стали заливать растения.

Девушка подула в розовый конец свистульки, и через несколько минут вновь установилась солнечная погода.

– Сколько мы вам должны за спасение урожая? – спросил главный старейшина, доставая из кармана кошелек с монетами.

– Басе нельзя брать деньги за работу, – ответил Янек. – Дар пропадёт.

– Но мы можем заплатить продуктами питания, – предложил один из старейшин. Янек кивнул головой в знак согласия.

Так они и стали жить. Бася делала погоду, а Янек строил дом. Когда строительство дома подошло к концу, девушка заметила, что Янек постарел.

«С чего бы это?» – подумала Бася. Она не знала, что приближается срок платежа за чудо. Да и зачем забивать хорошенькую девичью головку мыслями о грустном? Тем более что она занята думами о молодом Иванко, живущим по соседству.

«Вот и хорошо, – подумал горшечник, заметив, как полыхают румянцем Басины щечки при встрече с молодым соседом, – справлю новоселье и свадьбу, тогда и уйду со спокойной душой».

Так и случилось. Спустя неделю после свадьбы Бася не увидела за столом Янека. Впервые он не пришел завтракать. Бася постучала в дверь комнаты горшечника, но не услышала ответа. Она вошла в комнату и увидела Янека, неподвижно лежащего на кровати. Он был таким, каким она его знала прежде: старый, небритый и руки со скрюченными пальцами.

Когда хоронили горшечника, была ясная погода, на небе ни облачка, только широкая радуга опоясала небосвод.

– Светлый был человек, – сказал главный старейшина и, указывая рукой на радугу, добавил: – Даже врата райские ему открыты, чтоб душа не заблудилась.

И все стали смотреть в небо и не заметили, как маленькая белая птичка выпорхнула из гроба и полетела к радуге.

– Смотрите-ка, нашла! – обрадованно воскликнул главный старейшина, когда птичка влетела в радужные ворота.

И всем стало спокойно и радостно на душе, потому что горшечнику подарили вечный покой.

– Каждому воздаётся по трудам его! – ответил главный старейшина на вопросительный взгляд Баси.

Когда у Баси с Иванко родился сын, селяне предложили назвать его в память о горшечнике Янеком, что и было исполнено с превеликой радостью.

А что же свистулька?

Пока была жива Бася, свистулька служила людям, как говорится, верой и правдой. А потом куда-то пропала. Как знать, может быть, ищет такую же добрую девочку, какой была Бася?

Борис КУДЕЛИН

проект осуществляется при поддержке компании Orange

Продолжение. Начало в №10,11.

В поисках попутного ветра

Стационе централе в Милане – просторный и удобный вокзал. Я уже привык к нему. Приехал поздно, около 10 часов вечера, а когда подъехал к ночлежке на автобусе (думаю, не стоит повторять – без билета), то там уже был отбой. Подойдя к решетке, я увидел Сайда – молодого араба, правую руку шефа ночлежки, и спросил его, можно ли опоздавшему по уважительной причине получить ночлег. Естественно, получил отрицательный ответ. Спорить, уговаривать функционеров в Италии, я уже знал по собственному опыту – бесполезно.

Улица, на которой располагалась ночлежка, заканчивалась тупиком для транспорта, но для пешеходов все же проход был. И вот в этом проходе под деревьями у забора лежали матрацы, а на них – тряпки или что-то похожее на одеяло. Я слышал об этом месте. Здесь ночевали или те, кого не пустили на ночлег, или те, кого выгнали по истечении срока. Нередко спустя несколько ночей выгнанных вновь принимали на те же 15 суток. У забора я нашел на земле матрац с одеялом. До этого мне еще не приходилось пользоваться этой летней верандой. Не раздеваясь, лег на матрац, пришлось воспользоваться и одеялом. Я надеялся, что если усну, те, кто будет проходить мимо, не наступят мне на голову. В небе стояла мужественно-серьезная луна (та луна, о которой я когда-то писал в своем стихотворенье: «Нежная, светлая. Над землей склонилась и облачком-платочком слезу утирает...»), но оценить даже при ее свете стерильность постели я не смог. Спал, вопреки ожиданиям, неплохо.

Утром попросил пустить побриться – пустили, уже хорошо. Я даже выпил кофе, немного погрелся – все же помещение. Затем поспешил встретить своих земляков, а также Сашу, которые жили в Афори (район Милана). Они должны были подъехать к вокзалу – обычному месту встречи большинства «путешественников» по утрам. Оттуда мы шли на «молоко». Земляков и Сашу я встретил. Они, похоже, были разочарованы тем, что я вернулся – мое трех- или четырехдневное отсутствие давало им возможность предполагать, что вот все-таки кто-то находит лучшие условия, работу. Мое возвращение разрушило и их пусть туманные, но все-таки надежды. Вечером меня пустили на ночлег. Но через два или три дня я встретил земляков из Молдовы, которые уже успели поработать на юге Италии на помидорах. Хорошие, доброжелательные люди – они подробно объяснили мне маршрут до Неаполя, а из Неаполя на автобусах к селам. Их рассказ еще более укрепил мое стремление добраться до юга Италии и там поработать на уборке помидоров. Да, это было, кажется, на третий или четвертый день после моей поездки в соседнюю дружественную страну – Францию.

Утром, как всегда, мы с «коллегами» собрались у вокзала. Ждали часа, чтобы пойти на «молоко». Я пошел попить воды из крана на вокзале и решил заглянуть на перрон. На перроне как раз стоял поезд не только на Неаполь, но и дальше на юг. Вообще, я предполагал уехать ночным или вечерним поездом. Так как я уже был с вещами – из ночлежки меня выгнали, впрочем, как и всех остальных, по причине каникул, у меня возникла мысль уехать тотчас же, не дожидаясь вечера. Поезд вот-вот должен был тронуться. Я стоял на перроне, не решаясь войти. Рядом со мной оказался парень – цветной, точно не могу сказать, то ли из Индии, то ли из Южной Америки. Он меня спросил: «Хочешь ехать на этом поезде?» – «Да, на уборку помидоров». – «Ну садись». – «Но там же контролеры – я их боюсь». – «Не бойся, садись!» – приказывает он мне. Поезд уже готов тронуться. «Садись!» – снова велит парень. Я вскакиваю в вагон, и поезд мчит нас в Неаполь. И верно, какая великая правда в высказывании: «Кто никуда не едет, у того нет попутного ветра!..» А тот, кто в дороге, тот непременно его обретет!.. (Надейтесь – надежды имеют тенденцию сбываться!) Войдя в вагон, я просто поразился тому, что он битком набит пассажирами. Втолкнув свои вещи на верхнюю полку меж сумок и чемоданов итальянцев-путешественников, я вышел в тамбур, где также было полно людей. Кто стоял, кто сидел на своих вещах. Дорога, в общем, была веселая. Я познакомился с ребятами-итальянцами, которые ехали на самый юг Италии на

«ваканс», уже забыл, куда именно, но далее Неаполя. В вагон изредка протискивался контролер, но для меня он уже не представлял опасности, так как проверить билеты у всех было нереально. Один раз, когда он находился в толпе тамбура, я зашел в туалет, а ребята делали мне знаки, что все в порядке – дверь туалета не была закрыта. И так я проехал почти через всю Италию с севера на юг без билета.

В Неаполь поезд пришел около четырех часов, может, позже. Светило солнце. Помня наставления земляков из Молдовы, я вышел на привокзальную площадь. Успешная дорога, само значение для меня Неаполя – настроение было бодрое! И еще другое везение, как мне и говорили, – на площади я увидел группы наших парней и женщин. Они были в основном из Украины. Печально удивило, что среди них были и пожилые женщины – по меньшей мере, за 50. Они, сами без постоянного крова, без каких-либо средств, тут же взяли шефство надо мной – накормили из своих запасов (взятых в «каритасе»). Конечно, я расспросил о возможностях существования в Неаполе для нашего брата-беженца. С работой – плохо. С ночлегом – очень плохо. Спят в вагонах, на вокзале. Оттуда их, естественно, гонят полицейские. Питание, как повсюду, в Италии – в «каритасе». И тоже два раза в день. Была тут и группа парней из Украины, кажется, Западной. Они пили вино и, как я понял, пили не только сегодня и не только в данный момент. В Милане люди из моего окружения, можно сказать, даже и не думали об алкоголе. Ребята предложили и мне стаканчик. Я согласился. Подумал, не стоит их сторониться. Кто-то сидя спал на скамейках, другие беседовали. Все это происходило на площадке у самого вокзала. Проходили мимо озабоченные итальянцы, они, думаю, уже привыкли видеть здесь группки иностранцев. Как мне сказали женщины, ребята ждали какую-то Иру, которая должна вот-вот подъехать (у нее была своя машина) и сообщить о поездке на уборку помидоров почти всем «кагалом». Куда-то, как мне говорили, на самый юг Италии. Я надеялся, что смогу поехать вместе с ними. К нашему «биваку» изредка подходили новые земляки. Некоторые из них уже давно жили в Неаполе: по полгода и более (для меня тогда это казалось очень долгим сроком). Кое-кто из них все же находил работу, пусть и временную. У меня были сведения (хотя порой разноречивые), что на юге найти работу проще, но оплата труда ниже.

Подошла молодая женщина. Лицо, скорее, красивое, черты неординарные. В чем заключалась неординарность, трудно сказать. К красивым женщинам я чаще отношусь настороженно, как многие неуверенные в себе мужчины. Но с ней мы как-то сразу разговорились. Эту ставшую для меня такой милой, почти родной девушку (знакомство-то длилось всего минут 30-40) звали Таней. Тоже откуда-то из Украины. Врач по образованию, приехала на заработки. Оставила на маму двоих маленьких детей. Обменявшись несколькими фразами, мы сразу поняли друг друга. Я, еще надеясь, что меня могут взять в итальянскую семью ухаживать за детьми или за престарелыми, попросил ее объяснить, как делать уколы. О! Как подробно, с каким желанием помочь мне хоть чем-то объясняла она. Мне это не пригодилось, но как я благодарен за ее искреннюю заботу обо мне. Потом она сказала, что, если меня не возьмут на помидоры эти парни, точнее, Ира, то у нее есть знакомые итальянцы и она через них меня куда-нибудь пристроит. Какая-то еще работа намечалась и на следующий день. А мы с группой должны были выехать в полночь. «Если не уедете, – говорила мне Таня, – завтра встретимся здесь, я приеду за вами». Потом она ушла, тепло распрощавшись. Больше я ее не видел, да уж, конечно, и не увижу. Но часто думаю о ней, о ее дальнейшей судьбе. Молодая мать (с мужем Таня была в разводе) уехала далеко от дома, за высокую границу, чтобы что-то заработать на жизнь, для детей... Горько... Возможно, это не каждый может понять. Тот, кто никогда вот так не уезжал, не срывался с привычного и родного места, дома – может, и навсегда, далеко от своих близких, от Родины. Кто не спал под открытым небом, не мерз у какого-то забора или, в лучшем случае, в парке, в кустах... И главное, без надежды, все-все наугад, со слабой верой в удачу... Но я очень надеюсь, что Татьяна уже дома, со своими детьми. А может, и в Италии, дай Бог, вышла замуж за итальянца и забрала детей с мамой к себе... В жизни ведь не только грусть и горечь – есть и счастье, и успех!..

Около девяти часов вечера приехала Ира. С двумя подругами и парнем, который был за рулем. Ира – молодая женщина за 30. Блондинка, невысокого роста – я у таких женщин не в цене. Спросил ее, возьмут ли они меня. Она мне не сказала ни «да», ни «нет». Потом звонила по сотовому, говорила с шефом. Часов в 11 те, кто хотел поехать и у кого были деньги, пошли к кассам покупать билеты. У меня денег не было, но мне удалось занять у ребят, не у тех, что пили вино, а у других двух, которые, судя по их поведению, были нормальными, порядочными ребятами, к тому же не-

пьющими. Трое парней, которые жили в Италии уже не первый год, поехали без билетов. Мы ехали на самый юг, как говорят, «под каблук», в славную деревню – Мозорака.

Ночью билеты проверял контролер. Ребят без билета он долго не мог разбудить. Разбудив, выгнал, пригрозив вызвать полицию. Так как ребята были достаточно опытными в бродячей жизни, они без труда догнали нас на других поездах. Утром, около девяти часов, мы подъехали к конечному пункту, где шеф должен был нас встретить и отвезти на своем микроавтобусе в деревню, поближе к полям с помидорами.

Было солнечное августовское утро. С сумками, чемоданами мы выгрузились на перрон. Те, кто должен был нас встретить, еще не подъехали. Как оказалось, нас еще должны были везти километров за двадцать-тридцать от вокзала. Позвонили по телефону. Ответили, что за нами скоро приедут. Мимо нас, а это, кажется, была суббота, проходят не спешащие итальянцы-южане. С некоторым интересом поглядывают в нашу сторону невысокий, полноватый, с черными, как маслины, глазами, привокзальный полицейский. Вокруг вокзала много клумб с цветами. Раскинули широкие, зеленолистые кроны какие-то, не похожие на наши, деревья. Вскоре за нами приехали микроавтобус и легковая машина, может быть, «Фиат». Нас было одиннадцать человек. Места всем хватило, и мы тронулись в путь.

Я почему-то люблю, когда меня везут в машине, по крайней мере, в это время чувствую себя спокойно и как-то даже умиротворенно.

Мы были в Калабрии. Много растительности. По дороге остановились у рынка. Вышли, денег ни у кого, по всей видимости, не было, но все же хотелось посмотреть на этот так глубоко, на самом юге Италии, запрятанный рынок. Много фруктов – финики, персики, дыни, виноград. Некоторые торговцы, узнав, что мы иностранцы, стали угощать нас фруктами. Я взял пару персиков – они были очень вкусными и душистыми. Передали нам в машину и несколько арбузов.

Наконец приехали в деревню – каменный городок. Начались переговоры об условиях работы, но не с самим шефом, а с его представителями. Переговоры от нашего имени вели те трое парней, «бывалые», они неплохо говорили по-итальянски. Условия были не совсем выгодными для нас. Дело в том, что на поля нас должны были каждое утро увозить за 50 километров. А в связи с тем, что на дорогу тратился бензин, с нас должны были высчитывать за каждую поездку по 10 долларов, независимо от того, сколько заработали. Наши поверенные взбеленились, не соглашались, вплоть до того, что собирались вообще уехать. Для меня такой оборот был бы трагедией. Но наконец ребята смирились, постепенно успокоились. Нас стали размещать на постой. Было две квартиры. То есть обычные жилые комнаты, с кухней, туалетом и душем. Я попал с «бывалыми» парнями. Остальные – семеро и еще двое, приехавшие дня на три раньше, жили на другой стороне глубоченного оврага, куда порой сбрасывали мусор. Прибывшие раньше других уже успели поработать, но не как обычные сборщики. Они шли за комбайном. Это очень тяжелый труд – вырывать за постоянно движущимся комбайном пропущенные кусты помидоров.

Мозорака – типичное итальянское село, все строения каменные. Улицы и улочки тщательно заасфальтированы. Одна часть села находится (как я уже писал) по одну сторону широкого и глубокого с крутыми краями обрыва, другая – по другую. С восточной стороны высятся гористые нагромождения, местами поросшие лесом, где, как я потом узнал, растет много съедобных каштанов. С западной стороны – море. Нам выдали аванс и подвезли к продуктовому магазину. Питаться мы должны были за свой счет, готовить сами. Было приятно тратить деньги на не совсем для нас обычные итальянские продукты. Даже несмотря на то, что деньги эти еще не были заработаны. Но я надеялся работать, не жалея сил. После магазина нас развезли по квартирам. В этой части Мозораки, куда нас, т.е. меня и троих «бывалых» (Павел, Толя и Виктор), привезли, улочки были узенькими-узенькими, и все это на круто-наклонной поверхности. У нас была однокомнатная квартира с кухней и балконом. Боже мой! Что это за балкон! Точнее, что за этим балконом! Какой вид! Представьте, с той стороны улицы, откуда мы входили, наша квартира была на первом этаже, с той же стороны, куда выходил балкон – на уровне третьего. Совсем близко окна и балконы-визави и ниже и выше. В окнах и на балконах нередко появлялись дамы (захватывающее зрелище, ведь совсем близко!) Правда, в тот же день нас попросили не выходить на балкон в плавках. Приходилось перед выходом на балкон одеваться, как на прогулку. В общем – балконы, мансарды, жалюзи – все, как в итальянских фильмах.

На следующий день мы должны были выйти на работу. Подъем в четыре часа утра. Я встал первым. Темно. Прохладно. Машина была уже на месте. Ждали моих товарищей. Пока ждали, из соседнего дома вышла женщина и дала нам термос с горячим кофе. Комментарии, думаю, излишни... Заехали за теми, кто жил на другой стороне оврага. Здесь впервые (но далеко не в последний раз) вышло замешательство, так как не все были готовы встать в такую рань. С небольшой задержкой, но в первый день на работу вышли все. Ехали около часа. Мимо каких-то невысоких мрачноватых холмов с рядами, целыми рощами оливковых деревьев. Проезжали и селенья, изредка мелькало море. Но все это мы видели в основном на обратном пути при солнечном свете. А сейчас по дороге к полям с помидорами могли видеть только бескрайнее небо да крупные редкие августовские звезды. Во время одной из таких утренних поездок родилось стихотворение «Звездное небо»:

*Звездное мое родное небо! –
Я с тобой всесилен и могуч!
Разве прадед мой под этим небом не был?
Разве солнце не сияло среди туч?..
И куда б ни шел я, где бы ни был,
Временем карающим распят –
Ты со мной, мое родное небо,
Нас с тобой вовеки не разнять!..*

Это стихотворение стало для меня звездочкой, указывающей своим сиянием, что впереди еще, хотя и кремнистый, но все же открыт для меня путь. Мне стало легче, увереннее жить с этими строчками.

Приехали на поле. Пока разбирались с «начальником», пока трактора подвезли «кассеты» (ящики по 400 кг), стало светать. Но вот нам дали ряды, ящики, и мы кинулись собирать урожай в виде спелых, довольно крупных томатов. Все старались работать быстро, но здесь, конечно, сказывались и опыт, и сноровка. Ребята, с которыми я жил, обладали и тем, и другим, а также огромным желанием заработать побольше. Они захватили себе кассет про запас, сразу заняли не по одному ряду, как все, а по нескольку. Потом, конечно, тем, кто поскромнее, не хватило кассет и рядов с помидорами, а это значит – простой. Постепенно становилось все жарче и жарче. Помидоры были настолько горячими, что можно было подумать, что они уже не зреют, а пекутся. Работали без перерыва. По краю поля, у дорог были поливочные колодцы. Можно было, открыв кран, подставить свое страдающее от зноя тело под трубу огромного диаметра, из которой с большим напором вырывался сначала теплый, затем прохладный поток живительной воды. Но ходить к этим трубам – значит, терять время. Но я все же через час-полтора подходил освежиться и выпить. Идешь к колодцу, как испеченный красный помидор, и не веришь, что в трубах еще не кончилась вода, что может быть такое счастье, как подставить тело под упругий поток прохлады. Примерно к трем часам, не позже, к моей невероятной радости заканчивались наши полевые работы. Мылись под трубами, мокрыми садились в машины, и Винченсо (так звали нашего самого главного шефа) вез нас обратно в Мозораку.

Зарабатывали мало. Расценки я уже не помню, да это и не так важно. В первый день заработал долларов 25. Из них 10 высчитали за бензин. Около четырех часов приезжали в Мозораку. Можно было отдохнуть, приготовить ужин, постирать, погулять. Это походило на нормальную жизнь. Обычно, приготовив ужин, я выходил на маленький балкончик.

Поначалу я питался вместе с ребятами, с которыми жил. Но их пристрастие к ежедневной выпивке заставило меня отказаться от совместного питания. Их разговоры, поведение давали основания предполагать, что это бывшие зеки. Жадные они были до невозможности. У меня они часто брали продукты, мне же не давали даже соли. Притом объясняли, что не могут кому попало раздавать то, что стоит денег.

Убрав с одного поля помидоры, мы переходили на другое. Первый день, первое поле, как обычно бывает, были самыми трудными. Здесь я познакомился с ребятами, которые выехали раньше основной бригады, – Геной и Батыром. С ними я быстро сошелся. Во-первых, они, как и я, были новичками в этой группе, во-вторых, и по возрасту они были мне ближе. Нашлись среди нас и такие, кому эта работа была не по силам. Один из них парень 22-24 лет, выше среднего роста,

хорошего телосложения, брюнет с чертами *jeune premier*. Ему бы быть артистом и играть роли дамских соблазнительей, здесь же – жара, бесконечные помидорные поля, да и вставать уж очень рано. Другой паренек – молоденький, без всякого, вероятно, опыта, еще не понял, что в жизни иногда необходимо бороться, трудом зарабатывать копейку. Была и девушка лет 25-28, которую депортировали из Германии, по всей видимости, за не совсем приличное поведение. Протянув дней пять, они уехали. Потом я слышал, что девушку какой-то ее друг-немец вызвал снова в Германию. Я был рад за нее.

Когда они уехали, освободились места, где жили Гена и Батыр. Я перешел в их комнату, т.е. уже на другую сторону оврага. Жизнь стала немного приятнее. Приехав с работы, мы готовили ужин, потом шли на прогулку по селу. Очень редко нас приглашали в дом, к столу. Мои друзья не ели и не пили. Делали вид, что они слишком хорошо воспитаны, а это, по их мнению, не позволяет вести себя естественно – поесть домашнего, выпить вина в чужом доме. Меня это злило. Что очень приятно вспомнить, так это прогулки. Наш дом стоял на краю Мозораки. За нами – выше, среди невысоких каменистых хребтов, начинался такой близкий для моего сердца лес. Немного не такой, как у нас, но все равно – лес. А вообще-то местность напоминала лунный ландшафт. Я – скиталец, без какой бы то ни было соломинки-надежды, все же находил в душе силы оценить красоту и неповторимость этого края – Калабрии.

Обычно мы шли вверх по асфальтированной горной дороге, по краям которой росли дикие кусты ежевики, попадались фиговые деревья со спелыми плодами, каштаны (пригодные для пищи), этих деревьев очень много было и в лесу. Дойдя до леса, мы немного углублялись в него, садились на огромные камни, поросшие густым и теплым мхом, и вели задушевные беседы. Заходило теплое красное солнце. Выходила нежная светлая луна, становилось свежо. И только тогда уже под сиянием звезд, мы спускались. Возвращались обычно другой дорогой, огибая Мозораку. Проходили мимо мужского монастыря, расположенного недалеко от леса на безлюдной высоте. Перед ним стояло изваяние из камня – Иисус Христос... Я нередко заходил в церквушку при этом монастыре. Одиноко и безлюдно и в церквушке, и вокруг монастыря. Рядом с нами тоже была церковь с часами, которые отзванивали время. Помню, я часто, просыпаясь по ночам, выходил на балкон, пытаюсь сквозь тьму, при освещении фонаря разглядеть время на церковных часах. Всегда хотелось, чтоб еще оставалось время поспать. Но к автобусу я выходил первым.

К концу августа работы становилось меньше. И в начале сентября мы взяли у хозяина расчет, и он отвез нас на железнодорожный вокзал. У меня было немного денег. Очень хотелось отправить их своим, домой. Но мы решили с Геной и Батыром ехать дальше, и не домой, а, напротив, глубже в Западную Европу. Ехать снова надо было через всю Италию – с юга на север. Единогласно решили сделать остановку в Риме. Ехали поездом, с билетами. Билеты за проезд здесь, как известно, стоят дорого.

В Рим приехали утром. Дни стояли солнечные. Мы сдали вещи в камеру хранения и налегке вышли из вокзала. Первое, что мы посетили – Колизей. Эти древние развалины с черными, как бы закопченными стенами находятся недалеко от вокзала. Мы обошли величавое, существенно разрушенное строение, занимающее площадь современного стадиона. Через решетчатые ворота можно было видеть мрачные внутренние строения этого «драматического театра». Я окидывал взглядом разваленные стены амфитеатра, старался проникнуть взором в глубь двора и пытался представить мужественных гладиаторов, пестрые толпы жестоких ликующих зрителей. Получалось плохо. По моей инициативе мы попытались отыскать «каритас», чтобы пообедать. Эта затея тоже не удалась, только время потеряли.

Продвигаться к намеченной цели мы решили по ночам, чтобы не заботиться о ночлеге – спать в поезде. Дорога мне уже была знакома. Доехали до Вентимилле. Там купили билет до Ниццы. Как только приехали в Ментону, двое французских полицейских стали продвигаться по вагонам. Я сидел в купе с французской семьей. У них был мальчик лет шести. Я что-то ему рассказывал, и в это время в коридоре появились полицейские. Бросив профессионально-пытливый взгляд в нашу сторону, они прошли. Батыра они тоже миновали. А вот Гену чуть было не сняли с поезда. Ехали не вместе, а порознь – в целях конспирации. Гена не знал французского, но пытался им объяснить, что возвращается домой. Он уже спускался с полицейскими по ступенькам поезда, когда один из них, неожиданно махнув рукой, вернул его в вагон.

Приехали в Ниццу. Тот же уже мне знакомый невысокий, я бы сказал, провинциальный вокзал. Так же солнечно, но уже не так жарко, когда я приехал впервые. Пошли к морю. На набережной, как всегда, прогуливаются веселые, щебечущие отдыхающие. Мы хотели есть. Я вновь предложил искать «каритас». Мои же попутчики с сомнением отнеслись к этой идее. Чтоб не спорить со мной, но и не потворствовать моей «прихоти», Батыр предложил пойти по берегу моря к Ботаническому саду. Видя их упорное нежелание попытаться воспользоваться бесплатным обедом, я с угрюмым видом поплелся с ними. Конечно, вокруг красота – побережье теплого Средиземного моря. Но меня уже эта красота не трогала. Чувство апатии и пустоты на душе. Вспоминались строки Федора Тютчева:

*О, этот юг, о, эта Ницца!
Как этот блеск меня тревожит!
Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет, но не может...*

Но даже сознание того, что по этому берегу, несомненно, прогуливался великий русский поэт, совершенно не грело или почти не грело мою душу. Мы посидели еще немного на скамейках на побережье, смотрели на, по всей видимости, счастливых людей. Да, по сравнению с нами, у них было все-таки стабильное положение. Они были в своей стихии, у себя дома. Часов около четырех мы возвращались с пляжа. Экономя деньги, решили купить по пакету молока и по багету. Потом пошли к кассе за билетами. Мы еще должны были сориентироваться, в какую сторону двигаться. Решили ехать туда, где есть виноградники. Батыр предлагал двигаться ближе к Бордо. Там, ему рассказывали, стоят вагончики, в них живут сборщики винограда. Я допускал, что существуют такие вагончики, только сомневался, что мы их найдем. Район Бордо подходил нам хотя бы потому, что из-за отдаленности менее доступен толпам, движущимся со стороны Польши, Румынии, а также с огромных просторов территории бывшего Советского Союза – таких же, как мы, кочующих странников.

В кассе мы приобрели билеты. Ехали ночью. Несколько раз нас будили контролеры. В Бордо прибыли пополудни. Походили по вокзалу. Быстро познакомились с находившимися там бомжами – в основном выходцами из Южной Америки. Рискнули поехать на местных автобусах поближе к виноградникам. Но никто нигде не изъявлял желания вести с нами переговоры о работе, так как у нас не было документов. Чтоб не забираться в сельскую глушь, а потом искать способы и, главное, деньги, чтоб из нее выбраться, мы решили вернуться в Бордо. Настроение было, мало сказать, грустное – траурное. Часов около пяти вечера вернулись. Стали снова искать «каритас». Нам дали адрес. Уже уставшие, измученные, мы решили одного оставить с вещами, а вдвоем идти на поиски. Пошли, конечно, я (так как знаю язык) и Батыр. Нам дали адрес ребята типа клошаров. С трудом, но все-таки мы нашли этот «каритас», помню, в его названии было слово «леди». Встретил нас чернокожий дежурный, или администратор. Наши документы его не устраивали. В конце концов он сказал, чтобы мы пришли к ужину, может, нам дадут поесть. С вещами уже втроем мы пришли к ужину. Дежурных было двое. Они безжалостно нас отрунули. Уставшие, голодные, мы поплелись обратно к вокзалу. Куда теперь?.. Мы не знали. Решили двигаться в сторону Парижа, но по пути выходить из поезда и искать работу на виноградниках или в садах.

Первый город, в котором мы остановились, был Брив. Уже под вечер мы добрались по моему настоянию к воротам «каритаса». Почему по моему настоянию? Потому что уже после Рима Гена и Батыр окончательно потеряли веру в возможность воспользоваться бесплатными услугами «каритаса». У ворот мы, уже почти ни на что не надеясь, позвонили. Вышел молодой и, как нам показалось, весьма хмурый человек. Мы попросили ночлега. «Не могу принять всех троих, – сказал он. Есть только два места. Может, попозже освободится и третье». Настал момент, когда нужно было выяснить, кто на какое место может рассчитывать в нашем «союзе троих» и вообще прояснить наши взаимоотношения. Но получилось все проще. В «храм» без всяких переговоров вошли я и Батыр. Гене мы пообещали, что не бросим и, в крайнем случае, что-нибудь придумаем. Но уже минут через 20-30 «хмурый» молодой человек сказал, что есть свободная кровать и для Гены. Однако на ужин мы опоздали (ох, какая жалость!), но что, мол, завтра уже будем на полном пайке. Нам показали кровати, душевые, где стояли полные флаконы с мылом. Мы хорошо помылись горячей

водой и впервые за долгое время легли на настоящие простыни и матрацы. Подъем в семь часов. Завтрак в восемь. Я умылся и вышел в небольшой дворик. Теплое осеннее солнце ласково лилось на поздние, но еще нежные, свежие цветы и фонтанчик с небольшим бассейном. Я подставил лицо под лучи солнца. По гороскопу я Лев, а символ Льва – солнце. Да, всю жизнь очень люблю солнце. Я грелся в этих тихих добрых лучах и на миг как-то забыл тревоги, безнадежье, словно вернулся во времена юности, когда весь мир был хотя и сложным, но своим, родным. «Светлый покой опустился с небес и посетил мою душу». Через несколько минут нас пригласили к столу. Стол стоял на веранде, большой, овальной формы. Вышло еще человека четыре-пять – постояльцы. Потом за этот, очень похожий на семейный стол сели еще трое: тот парень, который нас принимал, директор (или старший в этом «каритасе») и, по всей видимости, его дочь. Завтрак, на наш взгляд, был обильным – сыры, колбасы, сливочное масло, кофе, вареные яйца. Обед, мне кажется, не было, только ужин в семь часов вечера. Но нас и это устраивало с лихвой.

Днем мы ходили по городу. Был базарный день. Виктор и Батыр живо интересовались ценами, правда, больше на продовольствие. Меня же цены не занимали – все равно нет не только денег, но и надежды на то, чтобы устроиться на работу. Светлого покоя, неожиданно овладевшего утром моей душой, как не бывало. Опять глубокая апатия овладела мной. Вернулись под вечер в «каритас». Оставалось еще время до ужина. Я опять вышел в маленький и очень милый дворик, к цветам. Цветы такие, как и у нас, растут, – чернобривцы, петунии. Летали по-осеннему ленивые пчелы, садились на цветы. Я прикрыл глаза. Ласковое солнце легло лучами мне на плечи, погладило по лбу... Это было совсем как в родном краю...

Ужин был не менее шикарный, чем завтрак... Батыр ел всегда с запасом, но и я не отставал. Гена ел мало и вообще не жадничал. За столом по-семейному велась беседа, двери во двор были открыты, и оттуда веяло осенним теплом и свежестью от цветов и бассейна. Прожили мы там пять дней, больше нельзя было. Правда, нам сказали, что мы сможем прийти через три дня и нас снова примут на пять дней. Но мы решили ехать дальше, в сторону Парижа, не оставляя надежды найти по дороге работу. Покинув «каритас» в Бриве, мы поехали дальше на поезде. По-прежнему с билетами. Тратили, к моему глубочайшему сожалению, последние деньги, которые мы с таким трудом заработали на сборе помидоров. К вечеру мы вышли в городе Рив. Пошли уже в сумерках искать «каритас». Нам указали адрес. С сумками мы ввалились в «каритас». Нас очень вежливо встретили, но сказали, что, так как мы пришли уже поздно, то нужно сначала зайти в полицию и зарегистрироваться. Встреча с полицией в наши планы не входила. Сделав вид, что ничего против посещения полиции не имеем, мы собрали свои сумки и вышли в уже совершенно сгустившуюся темноту. Уныло стали искать кусты для ночлега. Нашли какой-то двор, где была небольшая аллея с кустами и деревьями. Прошли вглубь и стали устраиваться на ночлег. Батыр лег на скамейку, Гена в садовую тачку, я – на какой-то настил. Было прохладно. Сон был беспокойный. Дождавшись утра, девяти часов, мы снова пришли в приемную «каритаса». Нас пригласили к завтраку, показали кровати. Гену и Батыра подсадили в комнату к какому-то парню. Меня – в другую, где тоже жил парень, по всей видимости, – француз, но какой-то нелюдимый. Я не слышал от него ни единого слова. Здесь мы познакомились с юношей-болгарином. Он был беженец и просил политического убежища во Франции. Неплохо говорил по-русски. И для нас, и для него было большой радостью пообщаться.

Надо все же сказать, что условия для жизни в этом общежитии были весьма приличными. И все это вместе взятое нас с Геной и Батыром не могло оставлять равнодушными. В комнатах по 2-3 человека, душ, чистые постели. С питанием тоже отлично – утром легкий завтрак, обед и ужин всегда с мясом, сыры, йогурты, фрукты. Здесь мы жили дней 5-6. После завтрака обычно гуляли по городу, не оставляя надежды найти работу. Нас часто сопровождал по Риву наш знакомый парень-болгарин. Как любой французский город, Рив со вкусом озеленен – вдоль улиц деревья, много и вечнозеленых, клумбы, парки. Красиво, но в этой красоте отчетливее и острее проступает чувство одиночества, беспокойства на душе...

В один из последних дней нашего пребывания в Риве мы – Батыр, Гена и я – уже, пожалуй, бесцельно гуляли по этому небольшому уютному городку, улицы которого украшают аккуратно стриженные деревья, образующие вместе со стволом и кроной огромную букву «Т». А начинающие желтеть и краснеть по сезону деревья, такие как липы, каштаны, вперемешку с вечнозелеными деревьями, которых немало во Франции, создавали пеструю, нежных цветов мозаику. И к тому же

еще множество пышных цветов на клумбах и мягкая голубизна небес – все это навевало легкую грусть...

Около полудня мы набрали на красивую и, по всей видимости, древнюю церковь. Я предложил своим спутникам посетить храм. Но они отказались. «Иди – любуйся, а мы лучше посидим здесь на скамейке». Я вошел в церковь. Как и ожидалось, в древнем храме – полумрак. В глубине у Распятия мерцают огоньки свеч. И, как нередко бывает в огромном с высокими потолками храме, – ни души, хотя двери открыты для всех желающих помолиться. Я стал обходить это древнее прибежище страждущих или просто верующих. По кругу церкви – несколько отделений, или ниш, в виде небольших комнат, стоят скамейки, каменные изваяния святых. На стенах великолепные, огромных размеров картины на библейские темы, выполненные художниками прошлых веков. Мое внимание привлекли голоса из комнаты, дверь которой была приоткрыта. Обычно в таких комнатах размещается администрация церкви. Я вошел (терять нечего!) В комнате за столом сидели двое пожилых мужчин и такого же возраста женщина. Я поздоровался. Женщина подняла седую голову. «Вы что-то желаете?» – спросила она. В ее голосе я ощутил уважение и внимание. «А вы кто?» – ответил я на вопрос вопросом. «Мы работники «Секур католик». В то время я еще не имел ни малейшего представления о деятельности этого благотворительного общества. Но, вероятно, уже приобретенная в «походах» интуиция помогла мне моментально сориентироваться – я кратко изложил наше положение. Сказал, что в настоящее время проживаем в этом городе в «каритас». Ищем работу и хотели бы попасть в Париж, так как полагаем, что там легче найти работу. Женщину такая информация ничуть не удивила. И еще я ей сказал, что потерял очки и что в общем вижу хорошо, но вот читать без очков затруднительно. «Завтра у нас среда, – сказала мадам, – приходите в четверг с двух до четырех. У нас это приемные часы. И мы обговорим все вопросы. Постараемся вам помочь, чем сможем».

Наше пребывание в «каритас» заканчивалось на следующий день. Я сказал об этом женщине. Подумав немного, она ответила, что сделает со своими коллегами для нас исключение и примет нас в среду, т.е. на следующий день, в 14.00. «А насчет очков я постараюсь их вам сейчас же предоставить». Мадам кому-то позвонила по телефону. «Через минут десять приедет мой муж, и вы сможете подобрать себе очки. У вас же плюс?!»

Очки были в большой сумке, а сумку у меня утащили на вокзале в Ницце. В первой части своей повести я упустил этот момент, не упомянул.

Через несколько минут на легковой машине действительно подъехал мужчина и привез пар 7-10 очков. Из них две пары великолепно подошли для моих глаз. «Вот и прекрасно!» – сказал мужчина. В его манере общения так же, как и в манере его жены, чувствовались уважение и даже какая-то теплота к тому человеку, с которым он общается. Говорят, что у большинства французов вежливость является чуть ли не врожденной чертой характера. Может быть. Но в любом случае – приятно! У очков были разные оправы, и я проявил секундное колебание в выборе. Мужчина, уловив это колебание, поспешил мне сказать: «Вы можете забрать обе пары».

Когда я вышел из храма к моим товарищам, отдыхающим на скамейке в тени толстого, ширококромного каштана, они ничуть не были удивлены моим, вероятно, не менее часовым отсутствием. Зато их несказанно обрадовало и удивило мое сообщение о randevu в «Секур католик».

На следующий день, немного поблуждав по улицам этого уютного городка, мы все же к двум часам нашли скромное одноэтажное здание, над дверью которого висела надпись: «Секур католик». Мы были уже со своим багажом. В «каритас» перед уходом плотно пообедали. Нам выдали провиант и на дорогу. В «Секуре» нас уже ждали. Спросили, не желаем ли мы по чашечке кофе. «По две», – вероятно, подумал Батыр. Я также мысленно присоединился к его пожеланию. К кофе подали печенье, конфеты, и все без лишней суеты, чувствовалось, что в «Секуре» это обычное явление. Но мы тогда еще так не считали. Пили кофе с «запасом». А работники за это время подобрали нам вещи: джинсы, свитера (осень ведь на дворе!) Нашлись и для каждого из нас элегантные, удобные демисезонные куртки. Рюкзак оказался только один. Получил его я. После «торжественной части» в «Секуре» (для нас это выглядело так) один из «секуровцев» пошел с нами в кассу. Выяснилось, что на всех троих в «Секуре» денег не хватало для того, чтобы оплатить билеты до Парижа. «Секур» мог оплатить только полдороги. Но и на этом – большое спасибо! Билеты для нас были куплены до небольшого городка, разделяющего на равные части путь от действительно славного города Рива до столицы Франции (да и, вероятно, всего мира). Мы втроем сели в вагон

поезда и заняли места согласно купленным билетам. Естественно, перед этим мы поблагодарили и тепло простились с представителем этой, действительно по-настоящему благотворительной организации.

То, что поезд шел до Парижа, нас не могло не волновать и, конечно, приятно. Мы вспомнили, что еще в Бордо нам местные представители «СДФ», в переводе: «люди без постоянного места жительства», говорили, что выписанный контролерами штраф, т.е. квитанция со сроком оплаты, – ничего не стоит. И на эту бумажку они плюют. Тогда мы ничего не могли из этого понять...

И вот мы едем в поезде. Городок, до которого у нас билеты, уже позади. И чуть позже, по впереди идущему вагону мы увидели, как по направлению к нам шествуют трое контролеров. Мы сидим, ждем. Показываем наши билеты и документы и говорим, что живем в Бордо. Адрес? – пожалуйста: «10/2, Женераль Леклерк, кв. 44». Да мало ли улиц в Бордо?.. Нам выписывают штраф. В квитанции указан срок уплаты, кажется, в течение двух месяцев. Контролеры движутся в следующий вагон. Мы счастливы! Батыр решает, что с этими квитанциями теперь и впредь можно будет ездить в поездах как бы с билетами. Мы с Геной сомневаемся.

По радио сообщают, что поезд подъезжает к Парижу на Аустерлицкий вокзал. Не без душевного трепета мы спускаемся по ступенькам вагона на парижскую асфальтированную платформу. Вышли, огляделись. И вновь всплывает вопрос: «Теперь куда? В какую сторону идти?..» Толпы оживленных, куда-то стремящихся людей. Лица, хотя и озабоченные, но читается на них какая-то счастливая уверенность. Может, нам так кажется, потому что, в отличие от них, у нас ни в чем нет уверенности. Даже в том, будем ли мы спать этой ночью под крышей...

*Прощай, Италия!
Вы, солнечные дни,
И Генуя, и Рим,
И самый дальний юг
С полями дынь и помидоров,
Где величаво хлещет море
На теплые, пушистые пески.*

*И ты, Калабрия,
С медлительным закатом,
Торжественной луной,
Над маленьким селеньем
Среди холмов и засыпающих олив.*

*Не знаю, был ли здесь я счастлив...
Забывтый и потерян всеми,
Я, как Колумб, в чужие земли
Уплыл, уехал, может, навсегда...*

*Вот и теперь тебя, Италия,
Веселая – так справедливо все считают,
Печальным покидаю я.
Быть может, новая Земля
Меня, скитальца, приютит...*

Продолжение следует.

Евгений ЕВТУШЕНКО

Веничка Ерофеев из Самары

Почему столькие читатели, совершенно разные по образованию, по профессии, по возрасту и даже по политическим симпатиям, обычно ссорящим людей, полюбили Венедикта Ерофеева за его прозу, похожую на поэзию, и поэма «Москва — Петушки» стала воистину народной книгой? Её герой отмечен грустной интеллигентинкой пригородного Василия Тёркина, однако, не лихим юморком победителя, а незлобивой, но мрачноватой ухмылочкой потерпевшего поражение человека, улащающего себе жизнь саркастическим коктейлем «Слеза комсомолки». Такими стали не нашедшие своего места в жизни бывшие фронтовики и многие шестидесятники — социальные романтики, отщёренные от руля страны циниками, въехавшими на чужой романтике в личные благоустроенные капитализмы среди всеобщего средневекового феодализма, но с мобильниками, прокладками и бразильцами в футбольных командах. И симпатичный, хотя и несколько опустившийся Веничка, душевный и талантливый в своей откровенности, усмешливый, но сдерживающийся, чтобы не позволить себе несправедливо жестокую ярость, стал для читателей никаким не лирическим героем, а воплощением самого автора. Такие отношения складываются у читателей только с большими поэтами: для всех нас и Пушкин, и Лермонтов, и Есенин, и Анна Ахматова, и Пастернак, и Маяковский — это живые, близкие люди, хотя нам известно и про их слабости и недостатки, которые мы им прощаем, как своей родне.

Прозаики же очень редко воссоздают себя полностью. Мы порой запутываемся в их характерах, а вот у больших поэтов всё, как на детской открытой ладошке. Знаете, почему у нас после стольких постшестидесятнических поколений никак не могут появиться «красивые, двадцатидвухлетние»? Да потому что они играют в прятки с читателями, вместо того чтобы открыть свою душу, свою жизнь, свою любовь, таятся, ускользают, избегают исповедальности — и интимной, и гражданской, — и как же можно почувствовать их родными людьми, то есть русскими национальными поэтами?

И вот появился поэт, далеко не 22-летний, но красивый своей мудрой детской исповедальностью, поэт не случайный в компании таких бесстрашно бескожих людей, с ханжеской точки зрения, непутёвых, зато умевших быть нежными к родине, женщинам и природе, как Сергей Есенин, Николай Рубцов, да и Веничка Ерофеев.

Есть у Михаила Анищенко черты и других сильных поэтов — Юрия Кузнецова и Сергея Клычкова, но всё это не вычитанное, а вчитанное.

Когда я прочёл три его стихотворения, напечатанные Олегом Хлебниковым, то сразу понял, что наконец-то пришёл долгожданный большой русский поэт. Михаил Анищенко — лучший подарок читателям поэзии за последние лет тридцать, если не больше.

Михаил родился в рабочей семье. Родители были литейщиками, да и он сам — поначалу тоже. Но крестьянская кровь предков сказалась в характере, потянула к природе, к народным песням, а потом уже и к собственным стихам. В 1977 году его приняли в Литературный институт. В 1979-м вышла в Самаре первая книга — «Что за горами», за которую ЦК комсомола дал ему премию Николая Островского.

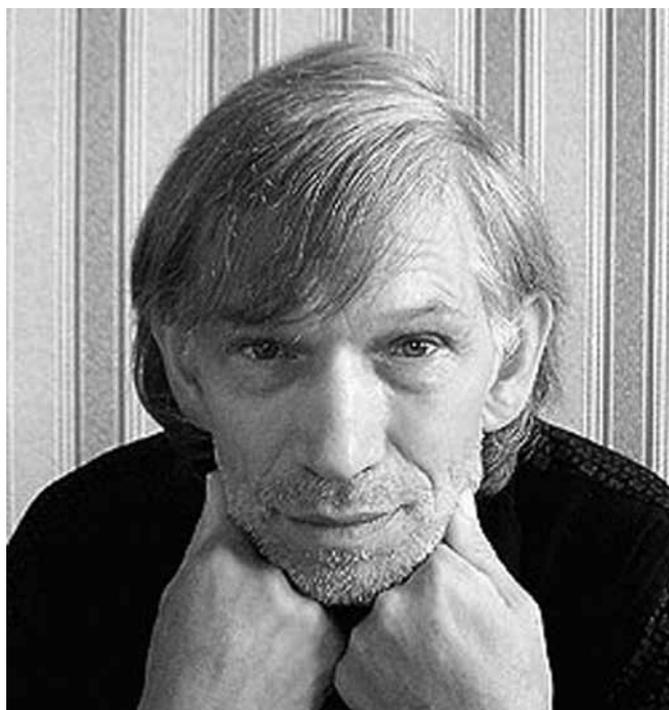
Комсомольским боссам требовались поэты, которых можно было бы выставить против шестидесятников. Но Анищенко не давался в руки, как, впрочем, и Рубцов, с которым у меня была самая братская дружба.

Но, как Есенина и Рубцова, московская псевдобогемная воронка закрутила, завертела Мишу. Его трижды исключали из института — за что, объяснять не надо, — и он получил диплом лишь в 1988 году. Каким-то образом во время перестройки стал одним из помощников самарского мэра. Но, увидев, как люди не выдерживают испытания властью и деньгами, проникся идиосинкразией к политике. Уехал в деревню, несколько лет пытался жить одним огородом. Раздражал своей откровенностью и непохожестью тех, кто любит паханствовать. Из зависти и в отместку его начали преследовать, даже избивали. Когда я дозвонился до него и спросил, чем он занимается, он невесело ответил: «Бомжую...» А потом прислал мне две дискеты со стихами — одно лучше другого.

Такие люди иногда валяются на дорогах.

Но такие поэты на дороге не валяются.

Не прогляди этого поэта, Самара. И ты не прогляди, Россия. Мы же тебя называем Россией-матушкой. Так будь матерью своим поэтам.



Михаил Всеволодович Анищенко

Русский поэт. Родился 9 ноября 1950 года, умер 24 ноября 2012 года. Окончил Литературный институт. Издал несколько книг стихотворений. Среди них: «Не ровен час», «Тебя ещё нет, меня уже нет», «Поющая половица», «Квадрат тумана», «Оберег», «Песни слепого дождя». Был победителем и лауреатом различных российских и международных литературных конкурсов.

О поэзии Михаила Анищенко

Абсурдные словосочетания – будто разряд тока, получив разряд поэтической подлинности – становятся естественными, как подорожник во дворе. Трагедия дымится полыньёй; но если сердце не нарывает болью – строки лишены соли. Соль – самая крепкая субстанция мира; разбавленная в современном варианте стёбом и псевдоинтеллектуализмом, теряет она свои качества – но только не у Михаила Анищенко, чьи стихи – будто синоним поэтической соли. Дуги ассоциаций создают причудливый рисунок стиха – причудливый, но не капризный, а естественный, как рисунок судьбы, которая порой выступает в роли не очень ласкового художника...

Усилья постичь, как сделаны эти стихи напрасны – ибо они не сделаны, а рождены, как живое существо, чьё дыханье мерно сливается с дыханьем мироздания; как существо, чьё существование уже не отменить...

* * *

Княжья речь, но оцет в чашу влит –
Горько пить, да звуки будут сладки.
Если есть стихи – то смерть молчит,
Смерть молчит – и значит, всё в порядке.

Пусть бедой дымится полынья,
Намерзают на ведро сосульки.
Есть в стихах оттенки бытия
Страшные – уж вы не обессудьте.

Космос держит лилию земли –
Закруглён цветок, пестро играет.

Хоть мы жизнь понять едва смогли,
То спасает сердце – что страдает.

Пусть в колодец сброшен будет князь,
Брат на брата умысел заточит.
Жизни код есть – он со светом связь,
Хоть извечный враг того не хочет.

Свет вбирая раненой душой,
Уврачуешь рану лучше мази.
Скверну, мерзость победит изгой –
Силой победит со светом связи.

* * *

Фотографии. Господи, вот ведь
 Не затянута льдом полынья...
 И давно уже поздно злословить,
 Отрекаться, что это – не я.
 Нас отметили, как наказали.
 Мы с тобою тоскою полны.
 Ты косишь золотыми глазами,
 Словно рыба со дна полыньи.
 На упреке закушена губка,
 В кулачках умирает испуг,
 И немного расстегнута шубка,
 Слишком узкою ставшая вдруг.
 А правее чуть-чуть, на отшибе,
 Где и ныне закат не погас,
 Детский садик нелепых ошибок,
 Взявшись за руки, смотрит на нас.
 И вот так у речного причала,
 Ни за что эту жизнь не вина,
 Тридцать лет ты стоишь, не качаясь,
 Словно всё еще веришь в меня.
 До сих пор не открытая тайна,
 Словно рыба, уходит на дно;
 И лицо твое в клочьях тумана
 Расплывается, словно пятно.
 Можно было бы резкость настроить,
 Но фотограф пришел подшофе...
 И не видно еще, что нас трое,
 Что нас трое на свете уже.

Шинель

Когда по родине метель
 Неслась, как сивка-бурка,
 Я снял с Башмачкина шинель
 В потемках Петербурга.

Была шинелька хороша,
 Как раз — и мне, и внукам.
 Но начинала в ней душа
 Хождение по мукам.

Я вспоминаю с «ох» и «ух»
 Ту страшную обновку.
 Я зарубил в ней двух старух
 И отнял Кистеневку.

Шинель вела меня во тьму,
 В капканы, в паутину.
 Я в ней ходил топить Муму
 И мучить Катерину.

Я в ней, на радость воронью,
 Кровоточил, как треба,
 И пулей царскую семью
 Проваживал на небо.

Я в ней любил дрова рубить
 И петли вить на шее.
 Мне страшно дальше говорить,
 Но жить еще страшнее.

Над прахом вечного огня,
 Над скрипом пыльной плахи
 Все больше веруют в меня
 Воры и патриархи!

Никто не знает на земле,
 Кого когда раздели,
 Что это я сижу в Кремле
 В украденной шинели.

Церковь. 1871

По Артуру Рембо

Когда опять здесь стадо соберется,
 Глаза и юбки низко опустив,
 Из-за кулис божественных прольется
 Из века в век заученный мотив.
 Опять зажгут заплаканные свечи,
 И на земле забытые рабы
 Начнут клонить измученные плечи,
 Начнут крестить безжизненные лбы.
 И так всегда – зареванные бабы
 Суют детей раскрашенным богам,
 Юродивые ползают, как крабы,
 Грозя каким-то призрачным рогам.
 Пропахшие прокисшими супами,
 Старухи деревянные до пят,
 За смрад души, изъеденной клопами,
 За все, за все Христа благодарят.
 За все, за все – за слезы и увечья,
 За слепоту, за пролитую кровь,
 За немоту, за проруби злоречья,
 За веру, утопившую любовь.
 И так всегда – от века и до века.
 Кромешный ад ликует неспроста.
 Я не нашел живого человека
 У бледных ног распятого Христа.
 Одни попы, качая животами,
 Плывут в дыму придуманного дня.
 Дорога в ад – усыпана цветами,
 Растущими из вечного вранья.
 Вблизи от храма птицы не летают,
 Не пьют жуки студеную росу.
 Здесь даже с кленов листья опадают
 На две недели раньше, чем в лесу.

Чиновники

Они прижились у подножия правил,
 Они научились подолгу молчать.
 Круги под глазами, как будто поставил
 На каждую морду антихрист печать.
 Как ртуть тяжелы ядовитые чресла,
 Глаза, как гнилушки в могильной черни.
 Их кожа становится кожей кресла,
 Но кожу меняют, как змеи, они.
 Они, как грибы на жаре, пропадают,
 Зеленая плесень им красит виски.
 Когда они дышат, – цветы опадают
 И жабы кричат от безумной тоски.
 Они управляют делами мирскими,
 Они не выносят ветров и невежд.
 Тяжелые папки лежат перед ними,
 Как будто гробы для убитых надежд.
 Чиновники млеют в объятиях лени,
 Улитки, как слёзы, ползут по щекам.
 Болотную ряской покрыты колени,
 Лишайник ползет по холодным рукам.
 Но если придется им встать над собою,
 Когда вы случайно войдете в их сон,

Они станут яростью, пулей, метлою
 И подлостью низкою, словно поклон.
 Бегите, бегите скорее, бедняжки,
 Забывших о жизни, живые не злят.
 А то их медали, погоны и пряжки,
 Любого заблудшего испепелят.
 Блеснет в темноте золотая коронка,
 Слепого презрения хлынет поток,
 И вас поглотит вихревая воронка,
 И сделает пеплом невидимый ток.
 Потом, как огромные черные птицы,
 Опустятся снова они на места.
 Но будут их мертвые губы кривиться,
 Как губы упавшего с неба Христа.
 А позже, оттаяв уже, на закате,
 За вечным безмолвьем высоких столов
 Приснится им рай и резные кровати,
 И кресла из меха седых облаков.
 Приснятся им девочки в солнечном небе,
 И руки, и губы, кричащие «Да!»,
 Но член, как засохший соломенный стебель,
 Во тьме их штанов не встает никогда...

Подготовил Александр Балтин

